

АРТЕФАКТ

&

ДЕТЕКТИВ

У «Демона» знаменитого художника Врубеля было семь ликов, и каждый из них преследовал своего создателя. Демоны в душе, демоны на картинах, демоны, возникшие от несчастной любви живописца. По прошествии многих лет демон ищет новую жертву...

Екатерина ЛЕСИНА

Поверженный демон Врубеля



Екатерина Лесина
Поверженный демон Врубеля
Серия «Артефакт-детектив»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11951867
Поверженный демон Врубеля: Эксмо; Москва; 2015
ISBN 978-5-699-83804-2

Аннотация

Демоны преследовали знаменитого художника Врубеля почти всю его жизнь. Демоны на холсте, демоны в душе – и у всех нарисованных чудовищ и прекрасных ангелов были изображены живые глаза его единственной возлюбленной Эмилии Праховой – женщины, любовь к которой в прямом смысле свела с ума и погубила художественного гения... Молодой талантливый художник Михаил Вербицкий накануне выставки изрезал все картины, а после умер от передозировки наркотиков. Старший его брат, Стас, не верит ни во внезапное безумие, ни в смерть от наркотиков. Слишком много вопросов оставила эта смерть. Почему у всех картин уцелела лишь копия знаменитого врубелевского «Демона Поверженного»? И случайно ли, что тело Михаила лежало в позе, точь-в-точь повторяющей позу Демона?..

Содержание

Пролог	5
Глава 1	8
Глава 2	15
Глава 3	24
Глава 4	29
Глава 5	46
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Екатерина Лесина

Поверженный демон Врубеля

© Лесина Е., 2015

© ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Пролог Год 1924#й

Огонек свечи дрожал, порой соскальзывая с фитиля, и тогда темнота подбиралась близко. Чернильные пятна ее расплывались по бумаге, и казалось, что сама ночь пытается прочесть недописанное письмо. Она видит отдельные слова, нанизанные на нити фраз, пустых, но вычурных.

...Говорят, что любовь – светлое чувство, которое возвышает душу. И потому чувству этому поклоняются, забыв, что поклонение подобное противно Божьей воле.

Сухие пальцы с трудом удерживали перо. И буквы выходили неровными. Эмили тогда начинало казаться, будто бы сами эти буквы, и письмо, и комната, в которой она пребывает, существуют лишь в ее воображении. Ей говорили, что, невзирая на годы, воображение это осталось слишком уж живым.

...Но порой любовь являет собой уродливый оскал. Она не возвышает, но отравляет душу, корезит ее, вылепляя нечто столь омерзительное, что всякая божественность из этой души уходит. И сама она превращается не во что иное, как в демона.

Демон – это и есть душа. Беспокойная, терзаемая многими страстями. А он этого так и не понял. И я только сейчас пришла к тому, хотя сама себе казалась мудрою.

Слова ускользали. Виною ли тому был возраст, или же болезни, или просто ночь, темнота и свеча, с которой станет погаснуть в самый неподходящий момент. Илишь упрямство мешало Эмили отложить перо и вернуться в постель.

Да и то постель эта была холодна.

Комната пуста.

А на бумаге жили воспоминания.

...Я гадаю, что было бы, если бы мне хватило смелости ответить на безумную эту любовь. Сбежать, как он предлагал. Поселиться в Италии... мне нравилась Италия, как нравилась Франция или же Россия.

Он верил, что я любила его.

Самонадеянный мальчик. Мне было лестно, что меня любят. Истоиво. Самозабвенно. С кровью. Любовь с кровью – любимое женское блюдо... а еще он был гением. В этом не было сомнений ни у кого, и потому-то Адриан так долго терпел его выходки. И я одергивала.

Порой.

Все же самолюбие мое требовало поклонения. Никогда больше ни в чьих глазах я не видела такого искреннего восторга. И когда он уехал, ощутила себя брошенной.

Наверное, я и вправду проклята.

О нет, мой брак не распался. Адриан всегда стоял выше ревности, но это его снисходительное равнодушие к моим поклонникам задевало меня. Не сомневаюсь, что он любил. И меня, и детей, в собственной своей сухой манере. Моя же душа желала страстей. И я сама творила их... заигралась?

Скрипнули половицы.

И стало быть, Ольга проснулась. Она тоже немолода, хотя и отчаянно отказывается признавать себя старухой. Но ведет себя совершенно невозможно.

Постоянно брюзжит и жалуется.

Брюзжит и...

Сейчас вот заглянет и начнет отчитывать занудным тихим голосом. Бестолковое дитя... а письмо-то не дописано...

...Мне не единожды ставили в вину и его сумасшествие, и саму его смерть. И никто не желал признавать очевидного, что Миша сам сделал выбор. Да, я отказалась участвовать в безумной его затее, поелику понимала, что жизнь с ним будет вовсе не такой уж радужной, как он то представлял. Мне же было спокойно в моем браке, уютно... и чего ради я должна была переменяться? Оставлять детей, мужа, дом... общество... бежать... это в фантазиях прелестно звучит, на деле же меня и тогда бы осудили за неверность. Я не боялась осуждения.

Я просто его не любила.

– Мама, вы снова не спите, – Ольга вошла в комнату, не удосужившись постучать. Она расплылась, сделалась нехороша. И нынешнее скудное платье не добавляло ей красоты. Что ж, времена наступили дикие... – Мама, вам надо отдыхать. Доктор сказал.

Глупость.

Будто бы отдых вернет прожитые годы. Да и нечего возвращать.

– Я сейчас, – сказала Эмилия. – Бессонница...

– Хотите, я вам снотворного налью?

– Нет.

Вот уж чего точно не надобно. От снотворного сны случаются муторные, недобрые. В них Эмилия не молодеет, но, как есть сейчас, старухю возвращается в Кирилловскую церковь, ту, где свет небесный коснулся двоих, но ни на одном не удержался.

На ней – так точно.

А для Мишеньки и вовсе проклятием стал.

– Я письмо допишу и лягу.

– Снова? – Ольга, против ожиданий, не стала упрекать, но села рядом. – Он вам по сей день не дает покоя...

Эмилия ничего не ответила.

...не я заразила его дурной болезнью, не я свела с ума, но лишь собственный его буйный нрав и фантазии, которые не случилось исполнить.

Я знаю, что он женился.

И скорблю по ребенку, который умер молодым. Детская смерть всегда печальна. Я сочувствую его жене, пусть и пережила их обоих. Надеюсь, хоть немного, но были они счастливы.

Я была.

Эмилия отложила перо. И скользнула взглядом по буквам. Некогда почерк ее был много лучше. Подцепив письмо за краешек, она поднесла его к пламени свечи.

– Осторожней, мама... – пробормотала Ольга, скривившись. Вот уж кому было жаль и бумаги, и свечи, и ночной пустоты.

– Я осторожна. – Эмилия смотрела, как сгорают слова.

Никому-то ныне не нужны ее признания. Не интересна и она сама.

Мир переменился. И та война, которая перекроила его, обесценила прошлое. А что гораздо хуже, и будущее обесценила.

– Ты сожжешь остальные письма? – спросила она у Ольги в который раз.

Для чего Эмилия вообще хранила их? Памятью об этой чужой любви? О поклонении? О мальчишке, который сделал ее бессмертной? Эмилии не станет, а Богоматерь сохранится.

Лестно.

– Сожгу, сожгу, – тема эта была Ольге неприятна.

– Но только письма... альбом сохрани, ладно?

Эмилия растерла черный пепел в пальцах.

– Мама...

– Сохрани. – Руки стали черны. От пепла, конечно, от пепла. – Когда-нибудь они будут стоить дорого...

...Эмилия не добавила, что для нее эти рисунки, акварели, сделанные на скорую руку, из желания ей угодить, скромный, как ему представлялось дар, вовсе бесценны.

– Глупости какие-то вы говорите, маменька...

Впрочем, Эмилия знала: Ольга исполнит просьбу. Она всегда была очень послушной девочкой.

Глава 1

Сальери всыпает яд в бокал Моцарта

У моего демона семь ликов. И первый из них... Гнев.

Мишкин голос звучал в ушах, хотя Стас старательно не слушал его. Гнев. Это ярость. Или больше, чем ярость, поскольку она ослепляет, а гнев, напротив, делает разум ясным, а восприятие обостренным. И в этом, обостренном, восприятии краски, звуки, запахи – буквально все причиняет боль, а боль доставляет странное, извращенное почти удовольствие.

С нею Стас чувствует себя живым.

Наверное, вот так и сходят с ума. Постепенно. Вперившись взглядом в потускневший купол местной церквушки. Некогда удостоившись позолоты, он сиял, но многие прожитые зимы не пошли церквушке впрок. Метели позолоту слизали, ветра пообглодали стены, а дожди омыли то, что осталось...

...Мишку тоже омывали.

В морге.

И после в похоронном бюро, куда тело перевезли. Стасу разрешили присутствовать, хотя распорядитель не единожды повторял, что в том нет надобности, что справятся и сами. Стас не сомневался, что справятся. Он ведь платил за это.

Немало платил.

Но мысль о деньгах вновь вызывала боль, может, если бы их было чуть меньше, то и Мишка остался бы жив.

У моего демона семь ликов.

Мишкин собственный, побелевший, странно-заострившийся, теперь из памяти не стереть. Стас знал, что покойники меняются, что это естественно, потому как мышцы теряют тонус, а само тело – воду... и что-то там еще, такое, неважное, но навязчивое.

Мишку обмыли.

Он бы, будь жив, не позволил бы к себе прикасаться. Никогда не позволял, пожалуй, с той самой поры, когда начал хоть как-то себя осознавать. И мылся сам, поначалу неумело, лишь развозя грязь по животу, но от Стаса отворачивался, упрямо повторяя:

– Я сам.

Сам... и костюм этот, строгий, черный, он в жизни не надел бы. В жизни он предпочитал мятые джинсы и рубашки, тоже мятые, а порой и грязные.

Краски везде.

Красный. Синий. Желтый. Зелени вот немного, потому что весна только-только началась. Весна всегда приходит исподволь, крадучись. И красок прибавляет.

Черная земля, жирная, кладбищенская. Серые дорожки. Зелень первоцветов, которые пробиваются то тут, то там беспорядочными кляксами... Мишке бы понравилось. Быть может, устроился бы прямо тут, на дорожке, с альбомом, с карандашом... а то и мольберт притащил бы назло старухам. Или не назло, Мишка никогда ничего не делал, чтобы назло, просто поступал так, как считал нужным, а Стаса это бесило.

Ничего.

Теперь Мишки нет... и беситься нечего.

Не на кого.

– Мне жаль, – вздохнула женщина в тяжелом драповом пальто с воротником из искусственной норки. Норка выцвела, поползла пятнами, да и сама женщина гляделась нелепою, случайной гостьей.

Кто она?

Странно-то как... похороны, люди какие-то подходят к Стасу, выражают сочувствие, а он только и может, что кивать.

И кивает.

И пытается понять, кто же это был. Друг? Приятель? Сосед? Кто-то, с кем Мишку связала незримая нить хороших отношений, достаточно хороших, чтобы потратить деньги на гвоздики, а время – на похороны. А самое удивительное, что никого-то здесь Стас не знает.

Что ж получается? Он понятия не имеет, как жил его брат?

А ведь и вправду не имеет... когда они в последний раз разговаривали, чтобы нормально, без крика и выяснения отношений, без обвинений, которые теперь казались пустыми, а тогда... а никогда не разговаривали. Да... и эта выставка идиотская... Мишка ведь не хотел ее.

Злился.

Говорил, что сам справится, без Стасовой протекции... и помощь ему никакая не нужна... говорил, но карточкой пользовался. А Стас орал, что карточку закроет, но все равно продолжал перечислять деньги.

Третьего числа каждого месяца.

– Наркотики, – заметила круглолицая старушка с вострыми глазами. В них Стасу виделось откровенное, детское какое-то любопытство, проявлять которое старушка не стеснялась. Она и к могилке поближе подобралась. И к гробу подошла, вроде как попрощаться, но на деле смотрела старушка не на Михаила, а на гроб, на костюм, на цветы... венки...

В ресторан поедет всенепременно, а после будет рассказывать своим, столь же любопытным подругам, как ныне принято похороны справлять.

Чушь какая в голову лезет.

И нехорошо подслушивать чужую беседу, но Стас ведь не таится.

Стоит.

Смотрит. И не его вина, что обострившееся восприятие сделало этот разговор доступным. Женщинам кажется, что они беседуют тихо.

– Вы, Анна Павловна, уж извините, но Михаил не был...

– Ах, Людочка. – Анна Павловна приложила к глазам платочек, верно, для большей скорбности образа. – Ныне все потребляют...

Произнесла она это с уверенностью человека, чей жизненный опыт позволяет заподозрить неладное в каждом встречном...

– А Михаил и вовсе... из этих... – Она взмахнула ручкой, той самой, в которой платочек держала. – Из художников. Там уж и вовсе каждый или по этому делу... – Она щелкнула пальцами по горлу. – Или по иному. Я-то знаю... у меня у племянницы сынок в живописцы подался. Я ей так и сказала: не потворствуй дури! Сгубишь парня...

– Не знаю, – Людочка была настроена скептически.

И кажется, действительно грустно ей было.

Соседка.

Конечно, теперь Стас вспомнил, и Анну Павловну с ее вечным недовольством, с лошадиным вытянутым лицом и буклями, которые она обесцвечивала добела. С рыжею помадой, от которой узкие губы гляделись еще более узкими.

И Людочку узнал.

Она обреталась этажом выше. Тихая девочка, тихая девушка, какая-то невзрачная, скучная, но весьма примерная.

Отличница, не то что Стас.

Кажется, за эту ее примерность он тогда Людочку тихо ненавидел. И себя тоже, потому что не способен был стать примерным, хотя бы ненадолго.

Интересно, как у нее жизнь сложилась? Отец что-то там упоминал про университет... английский язык... небось закончила с красным дипломом, иначе у таких, как она, не выходит. А после устроилась на работу. В школу. Потому что более хлебные места получают те, у кого, помимо красного диплома, хватка имеется... в школе и работает по сей день, если повезло, то доработала до завуча.

– Он всегда был... другим. – Людочка поежилась.

Пальто ее, тяжелое, точно броня, не спасало от ветра. И от Стасова взгляда. Она спиной повернулась нарочно, желая от этого взгляда избавиться, а заодно уж и от Стаса.

– И что? А братца его вы видели? – Анна Павловна ко взглядам была равнодушна, а солидная шуба и от ветра защищала. – Бандит!

– С чего вы взяли?

И со Стасова места было видно, как полыхнула краской Людочкина шея, тонкая, длинная. Таковую бы в шарф, а то ведь простудится, героиня-отличница.

– Ты машину его видела? А гроб этот? Ты себе представить не можешь, сколько стоит по нынешним временам приличный гроб... а цветы... откуда у него деньги?

Стасу стало смешно.

На похоронах собственного брата смеяться нельзя, люди решат, что он, Стас, обезумел. И будут в чем-то правы, потому что это безумие – притворяться нормальным в такой день.

Но почему им, таким, как Анна Павловна, всегда интересно, откуда у Стаса деньги?

И главное, деньги эти они любят считать.

Пересчитывать.

Гадать, честно они заработаны или нет. И что будет, когда деньги закончатся?

– Наркотиками торгует. – Анна Павловна широко, размашисто перекрестилась и поклон отвесила церквушке.

– Откуда вы...

– Людочка, нельзя же быть такою наивной! Очевидно. У старшего брата деньги. А младший обколотся до смерти. Значит, что?

Ничего это не значит.

Ничего.

Стас сжал кулаки. Ногти впились в ладонь, но эта боль, и не боль даже – неудобство – облегчения не принесло. Он заставил себя успокоиться.

Дышать.

И к могилке подойти. Потом, когда случайные и не случайные гости, которых набралось не так уж и много, отступили за ограду кладбища. За оградой стояли машины, а там и ресторан ждал.

Ничего. Еще подождет.

Стасу надо попрощаться. Он ведь так и не сумел, чтобы нормально... ни там, в похоронной конторе, ни в церкви, ни даже на кладбище. Обряды какие-то, обычаи... а тут вот...

Земли свежей горб. И деревянный крест с фотографией, с датами. Памятник надо будет поставить, но позже. Сказали, что сразу нельзя, земля усядет.

Или осядет?

Стас перестал понимать разницу между словами. Он стоял, глядел на могилу, на снимок, пытался заговорить, но не смог.

И отступил.

– Извините. – Людочка, оказывается, не ушла в машину.

Видела? Не могла не видеть, сама будучи незаметною. Как это у нее выходит? При ее-то немалом росте. На полголовы Стаса выше, а сутулится.

Горбится.

Стесняется, что ли?

– Вы ведь слышали все, да? – Она заглянула в глаза, сделавшись похожей на несчастную собаку. – Вы не могли не слышать...

– Слышал.

Стыдно не было.

– Вы... извините Анну Павловну, пожалуйста... она... у нее просто характер такой. Неуживчивый. А на самом деле она несчастный человек.

Стас извинит. Стасу, если разобраться, глубоко плевать на Анну Павловну с ее характером и несчастьями. Ему собственных хватает. И на Людочку с ее сочувствием тоже плевать.

Зачем она вообще подошла?

– И я не думаю, что Михаил был наркоманом.

– Почему?

Стало вдруг любопытно.

– Он не был похож на наркомана.

– А вы много наркоманов видели?

– Достаточно, – спокойно ответила Людочка, и взгляд изменился, сделался каким-то... более уверенным, пожалуй. И печальным. – Я нарколог.

– Неужели?

Прозвучало невежливо.

– Извините, – в конце концов, Людочка точно не виновата в том, что случилось. – Мне казалось, что вы английский преподаете.

– Почему английский? – теперь она удивилась.

– Не знаю. Просто... отец что-то такое упоминал про университет...

– Институт. Медицинский, – она слабо улыбнулась. – Это моя мама хотела, чтобы я стала переводчицей. Ей казалось, что переводчики зарабатывают безумные деньги. А я вот... мне языки тяжело давались. А естественные науки, наоборот. Вот я и решила...

И решение свое Людочка воплотила в жизнь.

– Мама была против?

– Поначалу не очень... она решила, что я стану гинекологом. Или дантистом.

– Почему?

Ей идет улыбка, лицо становится не таким удручающе бесцветным.

– Хотя... дайте догадаюсь. Выгодные специальности.

– Верно. Но... не сложилось. – Она шла широким неженским шагом, почти вытеснив Стаса с узкой тропы. – Я никогда не оправдывала маминых ожиданий...

Странное совпадение. У Стаса точно так же не получалось оправдать ожидания отца.

– Но мы не обо мне. Я, наверное, не в свое дело лезу... если Михаил и начал употреблять, то недавно... мы на днях встречались. Говорили.

– О чем?

– У него была безумная идея, написать мой портрет.

– Почему безумная?

– Потому что... портреты стоит писать с красивых женщин.

– А вы...

– Обыкновенная, – жестко постановила Людочка. – Да и вообще... это затянувшийся спор... скорее уже по привычке... мы проговорили почти час... о портрете... выставке. Михаил очень нервничал, что было нормально... но наркотики...

Людочка покачала головой и повторила:

– Я сомневаюсь.

И Стас сомневался. Вот только его сомнениям никто не верил. Что сомнения против фактов? А факты очевидны как никогда.

Выставочный зал.

Галерея небольшая, но с хорошей репутацией. И договариваться о выставке пришлось долго, Стас едва не плюнул на это дело... лучше бы плюнул.

Хотелось мира.

Это ведь нормально, чтобы в семье наконец мир наступил? Пусть и в семье этой – два человека. Думалось, вот Мишка-то обрадуется, когда скажут... не обрадовался.

Позвонил.

Разорялся, что Стас не имеет права вмешиваться еще и в эту часть его, Мишкиной, жизни... но от выставки не отказался. Самолюбив был. И увлекся постепенно. Стасу докладывали, что увлекся. Картины отбирал... новые писал.

Новую.

Ту единственную, которая уцелела. Безумный «Демон».

...у моего демона семь ликов.

И третьему имя – страсть.

Стас видел, что стало с галереей. Изрезанные холсты. И краска на стенах, отпечатки пальцев, ладоней, будто Мишка, вдруг утратив разум, решил, что именно те невероятно белые стерильные стены и есть холст. На нем писать удобней.

Вот только пятна краски в картину не складывались.

Часть фона.

Они и рамы с обрывками холстов. Картин, которых Стас так и не увидел. И можно заказать реставрацию, ему предлагали, а он отказался. К чему картины, когда Мишки нет?

Его нашли на полу в луже собственной рвоты, с ножом в руке, с безумным взглядом... явный передоз, как сообщил Стасу следователь. Без тени сочувствия сообщил, потому что наркоманам сочувствия не положено. Наркоманом оно и без надобности.

Но Мишка не был...

...в крови обнаружены...

...и список того, что обнаружено, впечатляет.

...и Стас все равно не способен поверить, что Мишка, его младший братец, своенравный, упрямый, способный пойти против отцовской воли, добровольно глотал колеса.

– Так ведь художник. – Следователь с трудом сдерживал зевок. Ему было недосуг вести пространные беседы с холемым родственничком потерпевшего. У него имелось в производстве еще две дюжины дел, а в придачу к ним начальство за спиной, которое требовало немедленных результатов.

А результатов не было.

– Натура творческая. Нервная. Может, в завязке был, а потом сорвался... выставка... то да се... стресс...

Стас ушел.

Не стал скандалить, не стал искать знакомых, как-то сразу поняв, что нет смысла давить на этого вот, измученного жизнью человека, который вполне искренне верит, что Мишка сам во всем виноват.

Стас почти убедил себя, что так и есть.

Что он давно не видел брата – чистая правда, а значит, мог и не заметить... и вправду, выставка... и все остальное... а тут вдруг говорят...

За оградой кладбища ветер поднялся, резкий, порывистый и по-зимнему холодный. Этот ветер пробрался под Стасову куртку, а Людочка и вовсе сгорбилась, попыталась поднять воротник нелепого своего пальто...

– Мамино, – пояснила она. – Я пуховик предпочитаю, но... показалось неправильным идти на кладбище в розовом пуховике... а из другого вот...

Стасов джип на стоянке смотрелся чуждо. И надо бы отправляться. Нехорошо опаздывать на поминки собственного брата.

– Садитесь, – предложил Стас, а Людочка, к счастью, не стала отказываться и лепетать, что это неудобно, неприлично... да и выглядела она не такой растерянной и никчемной, как ему запомнилось прежде.

Надо же.

Нарколог.

– Анна Павловна решит, что у нас с вами роман, – села Людочка на переднее сиденье, рядом с водительским. – Она не оставляет надежды устроить мою личную жизнь.

– А она не устраивается?

Людочка пожала плечами. Не устраивается, значит. Впрочем... какое Стасу дело? И до нее, и до Анны Павловны с ее фантазиями. Он уедет.

Сегодня же.

Или завтра. В крайнем случае послезавтра.

– Что именно он принял?

– Что?

Стас задумался и позабыл о Людочке, тем паче что сидела она тихо, да и сама по себе была незаметна.

– Принял. Что именно Михаил принял.

– Зачем вам?

– Профессиональный интерес.

Солгала. А лгать Людочка совершенно не умела: на лице ее появлялось выражение виноватое, смущенное. И если бы Стас ответил, что не знает, не интересовался или просто, что не ее это дело, она покорно приняла бы ответ. Но он сказал:

– Много что... или чего? Там целый коктейль...

– Даже так?

– Там... целый список... я не особо в химии понимаю... сказали, что на десятиртых хватило бы... и...

– А вам этот список на руки выдали?

– Что?

– Заключение, – терпеливо повторила Людочка. – Вам на руки должны были выдать заключение, в котором была бы указана не только причина смерти.

Стас кивнул. Что-то такое давали... и следователь тоже... постановление, кажется, о закрытии дела. И еще какие-то бумаги. Стас за них расписывался, но читать не читал. Бросил в машину, и все.

– Позвольте взглянуть?

– Сейчас?

– Позже, – разрешила Людочка. – Если хотите сказать, что я сую нос не в свое дело, то говорите...

Наверное, стоило бы, но Стас промолчал.

– Михаил был хорошим человеком. Добрым. Отзывчивым и... и мне жаль, что его не стало, – Людочка говорила это, отвернувшись к окну. – А еще он был разумен. Достаточно разумен, чтоб понимать, чем чревата подобного рода стимуляция...

– Какая стимуляция?

Она кривовато улыбнулась.

– Зачем люди принимают наркотики?

Стас пожал плечами, как-то прежде он не задумывался над подобным вопросом.

– Чтобы стало хорошо.

– Есть и такие... в основном подростки. А вообще хорошо – понятие размытое. Кто-то начинает из любопытства. Кто-то, чтобы показать крутизну свою... не отстать от компании... кто-то, чтобы стать умней. Быстрей. Вдохновения ищут опять же.

Ее голос, ровный, тихий, успокаивал. И Стас слушал, но не слышал.

Умней?

Быстрее?

Вдохновения?

Мишка никогда не жаловался на отсутствие вдохновения. Напротив, говорил, что у него времени не хватает все идеи воплотить. Но могло ли стать так, что все изменилось?

– Поэтому мне нужно знать, что он принимал. Тогда я смогу сказать, чего именно пытался достичь... – она не стала уточнять, кто именно.

Да и время для разговоров иссякло.

Ресторан, нанятый Стасом для поминок, располагался в центре города. Был велик, пафосен, как бывают пафосны провинциальные заведения, мнящие себя элитой, и скучен.

Остаток дня прошел, точно в тумане.

Кажется, Стас пил. Он давно уже не пил, разве что изредка позволяя себе бокал вина, а тут поднял стопку. Потом вторую и третью... водка не брала. Сначала показалось, что она не берет, но сознание вдруг ускользнуло, где-то между прочувственной речью Анны Павловны и Людочкиной тихой просьбой остановиться.

Стас послал обеих. Правда, не помнил точно, вслух или мысленно.

Глава 2

Натюрморт. Подсвечник, графин, стакан

Он очнулся от головокружения.

И успел перевернуться на бок, когда желудок скрутило. Рвало Стаса кислым желудочным соком, водкой и, кажется, салатом «Рассветный». Рвало долго, можно сказать, вдохновенно.

– Выпейте, – ему сунули под нос стакан воды.

Соленой. И горькой тоже. И пахнувшей преме́рзко, но пить хотелось зверски, и Стас подчинился.

– А теперь полежите немного...

Кто это?

И где он? В кровати... нет, не кровать, диван. Старый диван с потертой обивкой, темно-зеленой, в гусиные лапки, кажется, это так называлось. У отца в комнате стоял похожий. Поверх обивки накинута простыня.

Подушка имеется, плоская, неудобная.

Одеяло в белом пододеяльнике.

Ниже – ковер.

Пол.

Стол у окна, заваленный бумагами. Ноутбук. И древняя этажерка с цветами.

– Легче стало? – поинтересовалась Людочка.

Стас кивнул. Кивал он очень и очень осторожно, придерживая голову руками. Людочка... и квартира, похоже, ее... и как Стас сюда попал? В памяти пусто.

Чисто.

– Я вас привезла. – Людочка не носила халат.

Нет, может, и носила, но сейчас она была в домашних просторных брюках и темно-красном джемпере, который облегал Людочкину фигуру плотно, подчеркивая некоторую ее несуразность. Плечи по-мужски широки, руки мускулисты, а груди вот почти нет. Стас отметил это проходя, потом разозлился на себя: какая разница, есть у Людочки грудь или нет? А прическа ей не идет. Волосы не длинные и не короткие, стриженные под каре, но как-то неудачно, отчего подбородок казался широким, а лоб – узким.

– 3-зачем? – Стас сел.

– Полагаете, следовало вас в ресторане оставить?

Раздражена. Она, верно, решила, что у Стаса в обыкновении вот так напиваться. Он бы точно решил. А Людочка – нарколог, ей по профессии положено подозревать за людьми неладное.

– Н-нет, – он покачал головой. – Спасибо. Просто... неудобно.

Хорошее слово.

Очнуться в чужой квартире. В майке и трусах. Под одеяльцем куцым. Проблеваться... и неудобно.

– Я вам заплачу.

– Стас, – Людочка вздохнула. – За кого вы меня принимаете?

Он не знал. Ни за кого, наверное. Стас привык, что за услуги следует платить. Так проще. Избавляет от моральных оков долга.

– Вы мне ничего не должны. Кофе будете? Завтрак не предлагаю, а вот жидкости вам стоит пить побольше.

Кофе он бы выпил.

То есть согласился. И сам встал, оделся, обнаружив одежду на стуле, аккуратно сложенную. Зубы чистил пальцем, не способный вынести отвратительный привкус во рту.

– Я вашей машиной воспользовалась, – донеслось с кухни. – Решила, что утром вам будет удобней забрать отсюда... да и вас транспортировать было бы легче...

– Вы меня... одна сюда затащили?

– Анна Павловна помогла...

Людочка и Анна Павловна. Прекрасно. Теперь старуха решит, что Стас алкоголик... с другой стороны, как у них вышло-то? Дом старый. Лифта нет. А этаж – четвертый. Стас же весит под сотню килограммов.

Но как-то же получилось.

– Кофе, – Людочка поставила огромную чашку. – Сахар вот. Молоко, если нужно, в холодильнике. Но не уверена, что оно свежее...

Чашка была женской. Да и не только она, но сама эта кухонька, небольшая, аккуратная. С цветами на подоконнике, со скатертью яркой, расписанной желтыми и красными цветами.

Кажется, они назывались герберы, но Стас не был уверен.

– Я нашла у вас в машине. – Людочка подняла папку. – Надеюсь, вы не против?

Стас кивнул. Не против. В нынешнем его положении быть против означало продемонстрировать высшую степень сволочизма и неблагодарности.

– Хорошо. – Людочка пила чай, а папку положила рядом. Читала она долго, сосредоточенно, то и дело возвращаясь к началу. – Любопытно... очень любопытно...

Стас не мешал.

Кофе пил, к слову, довольно неплохой. Оглядывался. Смотреть, честно говоря, было не на что. Обыкновенная квартира. Старая. Типичной планировки.

Этажом ниже такая же.

Коридор-тамбур со встроенным шкафом, из-за которого коридор становится вовсе крохотным. Две комнаты. Спальня-пенал, гостиная с парой огромных окон. Совмещенный санузел и балкон двухметровый, скорее служащий кладовкой и складом для хлама, который авось пригодится когда-нибудь.

– Неправильно это, – Людочка наконец отложила бумаги и, нахмурившись, потерла лоб. А пальцы у нее белые, длинные. И ногти короткие.

Без лака.

Действительно, неправильно, чтобы без лака. И короткие.

Но вряд ли она о ногтях.

Стасу следовало бы вопрос задать, но он молчал, ожидая, когда Людочка сама соизволит продолжить. Она же не спешила говорить, что именно показалось ей неправильным в бумагах.

Сидела, уставившись на холодильник. Новый, к слову, и потому выделяющийся среди древней мебели, что размерами, что гладкими очертаниями.

– Он говорил, что если вдруг... что-нибудь случится, то вы вздохнете с облегчением, – Людочка отодвинула папку на край стола.

– Мы... не особо ладили.

– Это я поняла. А почему?

Стас пожал плечами. Он и сам хотел бы знать, почему. Он ведь... он всегда хотел для Мишки самого лучшего, а тот упрямылся. Да и вообще у обоих характер был не самый уживчивый, но характер – оправдание слабое.

– Да как-то... получалось.

Вернее, не получалось не то что жизни мирной, но даже разговора. А потому и разговаривали редко.

– Я помню вас... то есть вас обоих. Вы за ним всегда присматривали.

Стас снова пожал плечами. Присматривал. Как иначе#то?

– И я Мишке завидовала...

– Чему?

– Тому, что у него старший брат имеется. Как тогда, когда у него в школе пенал отобрали, а вы драку устроили. Мама еще очень переживала, говорила, что вы избрали самый простой путь решения конфликта, силовой, а это к добру не приведет. Но вы же помните, наверное, мою маму...

Завуч в той самой школе, где учился Стас, а потом и Мишка.

Женщина в синем трикотажном костюме, который оставался неизменен на протяжении всех лет Стасовой учебы. Лицо у женщины мутное, размытое, но почему-то кажется, что Людочка на нее не похожа. Еще он помнил кожаный портфель, единственную, пожалуй, дорогую вещь, которую позволяла себе Анфиса Егоровна.

– Она запрещала мне водиться с вами. Полагала, что вы можете дурно на меня повлиять.

– Что с ней?

– Умерла. Рак.

– Сочувствую.

– Миша тогда очень... помог. Ей. И мне. Я не о деньгах, хотя деньги тоже... в долг. Я вернула.

В этом Стас не сомневался. Такие, как Людочка, слишком правильные люди, терпеть не могут долгов.

– Он с ней сидел. Разговаривал. Слушал... у мамы непростой характер был, даже я не всегда выдерживала. Понимала, что должна, потому что дочь, единственная и любимая, несмотря на все ее упреки, любимая, а вот... нервы отказывали. – Людочка отвернулась. Ей было невыносимо стыдно, что у нее, оказывается, тоже нервы имеются и отказать способны. – А он готов был сидеть часами. Рисовал ее. У меня сохранились... если нужно, я отдам.

– Не нужно.

Зачем Стасу эти рисунки? Нет, наверняка они имеют какую-никакую ценность, но для Людочки их значение не исчерпывается деньгами.

– И когда мамы не стало... это всегда неожиданно. То есть я врач, я понимала, что рано или поздно, но она умрет, что иногда смерть – это облегчение, что... только понимать – одно, а прочувствовать – совсем другое. Я тогда совершенно растерялась. А Миша помог... и с похоронами. И после. Он приходил на чай. Приносил свои рисунки... пообещал ее портрет написать, хотя обычно за такое не брался... разговаривал. Я в долгу перед ним. И этот долг, в отличие от денежного, так просто не вернуть.

Стас кивнул.

Понимает. У него собственные долги имелись, частью оплаченные, а порой и те, которые оплатить он никогда уже не сможет.

– Поэтому я хочу добиться справедливости, как бы глупо это ни звучало, – Людочка засунула прядь волос за ухо. – И сначала мне нужно знать...

– Не было ли у меня причин избавиться от брата?

Стасу показалось, что Людочка должна смутиться от подобной откровенности, но она кивнула.

– Не было.

Правда, доказать этот факт Стас вряд ли сумеет. Вообще, как доказать, что он не убивал? Странно, но мысль об убийстве показалась на редкость логичной, правильной. И если так, получается, что и сам Стас о том думал?

– Мы... действительно не ладили. Во многом из-за меня... я... рано ушел... армия, а потом... приятель предложил заняться делом. Отец думал, что я пойду по его стопам, но армия не для меня. Мы разругались... я бы забрал Мишку, но куда было? У нас самих ни дома, ничего, угол у одной старухи снимали. И я решил, что... с отцом ему будет лучше. Звонил иногда... редко... бизнес... времени на сон и еду не хватало. Да и не любитель я телефонных разговоров. Деньги пошли, я их слал... думал, на том мой долг перед семьей исполнен. Мишка... я его считал пацаненком. Подростком. Не подумал почему-то, что он вырос... а потом он как-то позвонил, сам... не сразу дозвонился. У нас уже фирма. Секретарь... хотя ерунда, все одно работы куча, да мы как-то и привыкли работать. Главное, что у Мишки не сразу пробиться получилось. И это его разозлило... он сказал, что отец умер... что три дня как умер, а я в командировке был. В Германии...

Кофе закончился. Жаль. Стас бы еще выпил. Или не кофе, но просто выпил.

– Я приехал... он не был рад меня видеть. Оказалось вдруг, что прошло десять лет. Представляешь?

Людочка кивнула.

– А я вот не представлял, как такое возможно, чтобы раз – и десять лет словно в никуда. И Мишка изменился... я тоже, но за собой такое увидеть сложнее. Я ждал... не знаю, ждал встретить Мишку, того, которому четырнадцать исполнилось. А ему двадцать четыре. И меня он презирает. Я понять не мог, за что... а он не удосужился объяснить. Точнее, пытался, но мне все его объяснения показались такой ерундой... тогда мы и сцепились. Он обвинял меня в том, что я забыл про них с отцом. Я говорил о деньгах... он, что я этими деньгами откупался... мы не поняли друг друга.

Людочка слушала внимательно. Она, наверное, привыкла к таким вот исповедам, правда, сейчас о наркотиках речи не шло. И алкоголиком, несмотря на вчерашнее, Стас не был.

– Я предложил квартиру продать. Переехать... купил бы новую, где-нибудь в центре, в приличном доме... он послал меня подальше. Так и повелось. Я по-прежнему деньги слал, уже на карту. Изредка звонил. Ругались... пытались помириться... все равно ругались. Но убивать его? Зачем мне?

– Не знаю, – спокойно ответила Людочка. – Надоело содержать?

– Мне достаточно было просто перестать платить.

– Верно... тогда... – она задумалась. И Стас задумался, пытаясь представить мотив, который подвиг бы его на убийство.

Молчание затянулось.

– Не представляю, – в конце концов призналась Людочка. – Но почти не сомневаюсь, что Мишу убили.

– Почему?

Вот это было интересно. До Людочки Стаса пытались убедить, что, напротив, нет никаких сомнений в том, что Михаил сам виноват.

Передоз.

– Потому что ни один наркоман, если у него осталась капля здравого смысла, не станет принимать такой коктейль... смотрите, – она подвинула папку и раскрыла. – Здесь четыре препарата! Четыре!

– И что?

– Ну... если оставить в стороне такой сугубо практический момент, как желание растянуть удовольствие, то остается полная несовместимость одного препарата с другим. Синтетические наркотики вообще очень специфическая вещь... или не вещь... главное, что современная химия позволяет создавать такие препараты, которые влияют на организм в разы сильнее, чем классические опиаты.

Она постучала пальцем по папке.

– Вот этот растормаживает сознание. То есть в теории его используют, чтобы раздвинуть границы восприятия... – Ее лицо сделалось строгим, жестким даже. – На деле препарат нарушает пространственную координацию, адекватность восприятия. Возможны галлюцинации, причем очень яркие... это называют свободой подсознательного. И да, если бы Михаил принимал лишь его, я бы могла подумать, что... он решил прибегнуть к стимуляции.

А ведь черты лица у нее правильные, красивые даже. Ей бы стрижку другую. И одеться прилично, красавицей была бы.

Не о том Стас думает.

– Но вот это, – палец переместился строкой ниже, – классика почти. Известен как экстази. Из группы эмпатогенов. Усиливает и обостряет эмоции, а это уже не совсем вяжется с расширением сознания...

– Эксперимент?

– Решили взять на себя роль адвоката дьявола? Вам пойдет.

– Почему? – Стас смутился. Ему бы радоваться, что нашелся кто-то, кто думает так же, как он, но вместо этого он пытается найти слабое место в Людочкиных измышлениях.

И думает не о брате.

– Не знаю. Мне так кажется. А вот это дживиаш, или, если проще, синтетический аналог конопли. Обычно потребляют его не внутривенно, курят. Входит в состав многих спайс-смесей... к слову, эффект от него раз в пять сильнее, чем от марихуаны. И последнее, «крокодил». Не сказать, чтобы такой уж новый препарат, но у нас распространение получил относительно недавно. Аналог героина, но проще, дешевле и сильней.

Она замолчала, переводя дыхание.

– «Крокодил» колют. Дживиаш нюхают. Первые два потребляют в таблетках... и вот теперь вопрос, как ваш брат умудрился все принять одновременно? Да и в таких дозах... он бы после первой ушел в нирвану... ладно, допустим, сожрать горсть таблеток – много ума не надо... но тогда как уколоться? А после укола ему было бы не до таблеток, не говоря уже о курении. Закурил... и снова не сходится. Заметьте, вопрос здравого смысла я даже не поднимаю. А ведь Михаил был адекватным человеком. Даже если... если он баловался чем-то.

Людочка поднялась.

– Он не дошел до той стадии, когда начинается деградация, когда человек полностью утрачивает связь с реальностью, а все его устремления сводятся к поиску дозы. Да, такой наркоман примет все, что позволит ему хоть ненадолго отключиться. Но Михаил... он не мог не понимать, что эта смесь – смертельный коктейль!

Людочке на кухне явно было мало места. А еще Стас расселся, занял половину свободного пространства.

– И поэтому я делаю вывод, что его убили...

Делает она вывод.

Стас хмыкнул, но почему-то получилось жалко.

Людмила знала, что лезет не в свое дело. И удивлялась. Характеру ее была не свойственна подобная черта, но... в конце концов, она знает, о чем говорит.

И перед Мишей у нее долг.

А его брат, которого Людмила помнила совсем иным, вызывал в ней стойкое глухое раздражение. Он сидел, вцепившись в чашку с остатками кофе. Молчал, всем видом своим показывая, что Людмилины размышления ему малоинтересны.

Что теперь будет?

Известно, что.

Он спустится этажом ниже. Дверь закрое. И пусть у Людмилы имеются ключи, но воспользоваться ими у нее не хватит духу. Это неприлично – без приглашения входить в чужой дом, а ее приглашение умерло вместе с Мишкой.

– Я... – Стас чашку отставил и отодвинул. – Когда мне сказали, что он сам, я не поверил... не хотел верить. Мишка... мы ругались, это правда, но я не желал ему смерти.

Людмила поверила.

Вообще сложно было представить, что кто-то желал Мишке смерти. Он был... светлым? Пожалуй, что так. Он умел слушать. И смеяться, но так, что смех его не был обиден, напротив, от Мишкиных язвительных комментариев проблемы вдруг переставали быть проблемами.

Беды отступали.

И осенняя хандра, которая после маминой смерти стала почти невыносимой... он ничего не просил взамен, но просто был. Не любовник. Друг. Друг – это куда важнее любовника. Актуальнее. Порой Людмиле вовсе казалось, что Мишка – тот самый младший брат, которого у нее не было, но иметь которого ей хотелось.

– Я найду того, кто это сделал.

Прозвучало донельзя пафосно, и Людочка фыркнула, а Стас насупился и повторил:

– Найду. Сам.

– И что сделаете?

– Видно будет.

И опять замолчал. Похмелье так сказывается? Нет, Стас не походил на алкоголика, несмотря на все уверения Анны Павловны, что алкоголики нынешние имеют отвратительную особенность маскироваться под приличных людей. Стас пил редко, и потому вчера его так повело. На голодный-то желудок, с непривычки, после бессонной ночи...

Людмила тряхнула головой: с какой это вдруг радости она изыскивает оправдания? Прежде за ней подобного не водилось.

– И как искать собираетесь?

Она задала вопрос глупый, сама понимая, что он глуп, но ей отчаянно не хотелось оставаться одной. С некоторых пор Людмила тяжело переносила одиночество.

– Не знаю. – Стас все-таки поднялся. – Как-то не приходилось раньше... у Мишки были враги?

– Враги – вряд ли. Завистники были.

У кого их нет? Вот у самой Людмилы при всей непритязательной жизни ее и то имеются. О них она рассказывала Мишке. И про Милочку из терапевтического, с какого-то перепугу решившую, будто Людмила личная жизнь куда успешнее собственной, Милочкиной. И про заместителя заведующего, мрачного типа, уверившегося, что Людмила метит на его место... и про старшую медсестру, которая, впрочем, завидовала всем без исключений, у каждого человека находя именно то, чего ей для полного счастья не хватает.

Стас стоял.

Руки скрестил. Взгляд мрачный, физиономия каменная. Он что, ждет, что Людочка прямо здесь составит ему список потенциальных подозреваемых? А имя убийцы подчеркнет двойной волнистой линией, чтоб уж точно не ошибся?

Станный он.

И на себя не похожий. Нет, Людмила понимала, что непохожесть эта происходит единственно из ее воспоминаний, в которых Стас был худым, если не сказать излишне худым, парнем. Он и тогда-то разговаривал неохотно, словно сама необходимость произносить слова его тяготила. На Людмилу он взирал свысока. Маме грубил. Не только ей, но сам не замечал этой грубости.

Волчонок.

Кажется, мама так его называла и сетовала, что сие происходит единственно от отсутствия женской ласки. Даже порывалась побеседовать с Егором Викторовичем, чтобы был с сыновьями помягче... беседовала ли? Этого Людмила уже и не помнит.

Наверняка. Она ведь всегда поступала именно так, как собиралась.

В отличие от Людмилы с ее ужасающей непостоянностью.

Но Стас однажды ушел из дому, а вот теперь вернулся. Волчонок... матерый волчище с сединой в коротких волосах. А взгляд тот же, недоверчивый, настороженный.

Надо что-то сказать, а то под взглядом таким становится неуютно, хотя, казалось бы, Людмила на своей работе ко всяким взглядам привыкла.

– Творческие люди... специфическая среда, – она присела, но потом встала, потому что кухня была слишком тесна для нее и Стаса, и получалось, будто он над ней нависает. Угрожающе. А Людмила терпеть не могла, когда ей угрожали. – Как правило, очень амбициозны. И в то же время ранимы. Полны комплексов. А когда амбиции реализовать не удастся, они ищут виноватых. У Михаила вот выставка должна была состояться. В частной галерее.

– И это не нравилось?

– Естественно, это не нравилось. Все сразу решили, что выставка – договорная. Проплаченная то есть.

Стас кивнул: так и есть, договорная и проплаченная. Да и Мишка этого факта не скрывал. Раздражался, замыкался в себе, и, пожалуй, появлялось в нем некое сходство со старшим братом.

– Начались разговоры. Полагаю, его все осудили, сошлись на том, что Мишка – бездарность, но с деньгами... вот только...

Какой смысл убивать? Мишкина смерть ничего не изменила... разве что... бездарность и наркоман? И потому такой странный способ выбран?

– Не уверена, что это кто-то из... художников.

– Гений и злодейство не совместимы?

– Скорее злодейство и лень. Поймите, – Людочке было неудобно вот так стоять, она привыкла двигаться, в движении ей всегда легче и думалось, и говорилось. – Я знаю тех людей исключительно из Мишкиных рассказов. А он не старался быть объективным. Он... рассказывал истории. Получалось забавно, только вот, если подумать... Мишка продавал картины на набережной. Там небольшой такой... не рынок, рынком это назвать не совсем верно. Уличная выставка?

Людмила вертела в руках ложечку. Вспомнилось вдруг, что эта ее привычка к постоянному движению неимоверно раздражала маму. Женщине приличествует сдержанность.

– Приходят одни и те же люди... они знают друг друга... своего рода клуб? Сплетничают, естественно... у кого-то получается торговать лучше, у кого-то хуже... кому-то повезло договориться на портрет... или еще на какое полотно под заказ... кто-то пьет, почти спился уже. Кто-то нюхает тайком... у кого-то жена погуливает, или не жена... любовницы делят гения. В Мишкином изложении все было... смешным. Ненастоящим. Но потом он как-то сказал, что все эти люди – неудачники.

Тяжело рассказывать с чужих слов. Но Стас слушает. Голову чуть склонил набок. И выражение лица сосредоточенное, слишком уж, пожалуй, сосредоточенное. А само лицо некрасивое. Грубые черты. Подбородок тяжелый. Лоб низкий. Нос и вовсе ломан был, и не единожды.

– И в неудачах своих они сами виноваты. Им лень работать. Меняться. Они ждут, что вот сегодня будет идти по набережной великий критик, увидит их работы и поймет, что вот Вася Иванов – он не просто Васятка, но гений современной живописи. Все они ждали чуда, но притом частенько брезговали обычной работой. Скажем, кто-то отказался расписывать

кафе детское... мол, бабочки со зверятами – это пошлость. Кто-то отвернулся от рекламного заказа... на деле все это, гениальное, непризнанное, от лени происходит. Так Мишка считал.

– А вы?

– А я никак не считала. Я не берусь судить о людях, которых не знаю, – Людмила заставила себя расстаться с ложкой. И руки скрестила на груди. – Хотя стараюсь и не судить о тех, кого знаю. Но... Мишка говорил, что им просто не хочется брать на себя ответственность. Заказчики ведь капризными бывают. И проще убедить себя в том, что работа недостойна истинного творца, чем десятки раз переделывать... вам лучше у Ольги спросить.

– Ольга?

– Это его невеста. Бывшая, правда.

Стас выглядел растерянным. Не знал? Неужели настолько плохо все было? Мишка редко заговаривал о старшем брате, делал вид, будто его не существует, а Людмила принимала правила этой игры. В конце концов, Стаса и вправду не существовало.

До вчерашнего дня.

– С Ольгой они учились вместе. Потом встречались. Некоторое время она жила здесь... и заявление, кажется, подали. Или собирались подать? Мишка про заявление точно упоминал, а затем... – Людмила нахмурилась, пытаясь вспомнить точно, но память подводила.

Тот разговор ничем не выделялся из прочих, и слушала Мишку она вполуха, занятая собственными проблемами. Или не проблемами, но внезапным романом, на который понадеялась, а он оказался не любовью всей ее жизни, но обыкновенною интрижкой.

– Затем Ольга ушла.

– Сама ушла? – уточнил Стас.

– Не знаю, – пришлось признаться Людмиле. – Мишка сказал, что расстались...

– А почему?

– Я не спрашивала.

– Настолько не любопытна?

– Это его жизнь. И он не любил, когда кто-то слишком уж в эту жизнь лезет.

Стас вздрогнул и лоб потер.

– Ольга, значит...

В подозреваемые записал? А с другой стороны, почему бы и не заподозрить Ольгу? Людмила помнила ее, крупную и очень громкую девушку, излишне экспрессивную, притом что экспрессивность эта гляделась наигранной.

Ольга носила длинные юбки и украшения, гроздь бус и цепочек, связки медальонов. Летящие шали, звенящие браслеты.

Волосы красила в черный, а лицо отбеливала.

И пользовалась яркой красной помадой.

Она много курила, пользуясь мундштуком, потому что только так сигареты вписывались в тонкий ее образ. И говорила громким надтреснутым голосом... скандалила время от времени, всегда страстно, с обвинениями и битьем посуды, угрозами уйти...

Исполнила?

Надеялась, что Мишка следом бросится и будет умолять вернуться? Картинно, красиво, как и положено в театре, которым Ольга считала жизнь. А он не умолял. Забыл.

И шагнул дальше, чем удалось Ольге.

Могла ли она убить?

Людмила не знала.

– Адрес этой Ольги есть?

– Сохранился. Да и у Миши должен быть...

Стас вздохнул и спросил:

– Ты со мной не спустишься? Я дома... давно не был дома... и как-то вот... не знаю, – он провел ладонью по волосам. – Неудобно, что ли?

Неудобно возвращаться домой?

Но переспрашивать Людмила не стала, кивнула коротко и призналась:

– У меня ключи есть. Мишка дал... он уезжал иногда... а цветы поливать надо.

Глава 3

Сошествие Святого Духа

Цветы?

Цветов дома никогда не было, старый кактус, который выживал не иначе чем чудом – поливали его крайне редко, – не в счет. Этот кактус и сейчас стоял на прежнем месте, в углу подоконника, поседевший, раздавшийся в боках и ошетинившийся крупными иглами.

Сухой.

А за кактусом выстроились крохотные вазончики с фиалками.

– Это сенполии, – сказала Людочка, тронув лист. – Миша не так давно ими увлекся... сортовыми.

Мишка и цветы? Почему-то одно с другим в голове не увязывалось. Сенполии, блин... сортовые...

– Здесь есть очень интересные экземпляры.

– Забирай.

– Некоторые довольно дорогие, – сочла нужным предупредить Людмила.

– Забирай, – повторил Стас. – Все равно издохнут...

С квартирой надо что-то решать... оставить, как оно есть? Или продать? Если продавать, то много не возьмешь. Дом старый, планировка неудачная, из трех комнат – одна проходная. Санузел совмещенный.

Ремонт... ремонт делали, но видно, что своими силами. Плитку не тронули, пусть и пожелтела она от старости, а местами и потрескалась. Линолеум перестелили. И обои новые, но уже успели местами выцвести. Ковра этого Стас не помнит... и кухня, кажется, другой была. Точно другой, белой с глянцевыми фасадами, которые должны были блестеть. Нынешняя – черная, но тоже блестящая.

Блестящие поверхности Стаса раздражали.

В глянце кухонных шкафов отражался он, скособоченный, неуклюжий и лишний в этом доме. Людочка и та смотрелась гармоничней.

Она огляделась.

Покачала головой, увидев в мойке грязные тарелки...

– Это не я, – сказал Стас, которому вдруг стало стыдно, хотя к тарелкам он точно никакого отношения не имел. Он в квартиру и не заглядывал. Документы и те поверенный искал.

– Я помою, а то завоняются... и холодильник разобрать следует, отключить. Вы ведь здесь жить не останетесь.

Она не спрашивала, утверждала, и Стас кивнул: не останется, истинная правда. У него своя квартира имеется. Нормальная. Двухуровневая. С дизайнерским ремонтом и окнами в сквер. И на полу там не линолеум, а паркет с подогревом.

– Давайте так, – Людочка сняла с крючка фартук, – я разбираюсь с кухней, а вы осмотритесь. Может, увидите что-нибудь...

В голосе ее слышалось сомнение. И вправду, что именно они рассчитывают найти? Письма с угрозами? Или вовсе признание? Или улики, которые докажут, что Мишка не был наркоманом... глупая это затея, самому разбираться с убийством. Можно нанять специалиста. Профессионала. Стас ведь всегда к профессионалам обращался, если возникала необходимость. А тут вдруг решил в сыщика сыграть.

Ерунда какая...

Он потер слезящиеся глаза.

Так и сделает. Позже, когда пройдет похмелье... а пока просто осмотрится.

Гостиная. И ковер по-прежнему на стене висит, а на нем – портреты, мамин и отца. Оба молодые. Красивые. Форма отцу идет.

Стас отвернулся.

На кладбище он так и не побывал. Памятник поставил, самый дорогой выбрал, а вот съездить не довелось. Точнее, мог бы вырваться, но всегда находил причины, которые представлялись ему важными, неотложными... достаточно вескими, чтобы отложить визит.

Отец отражался в зеркалах старой секции. И в хрустальных бокалах, выставленных так же, как стояли они при отце. И рог здесь же... салатницы тяжелые, казавшиеся некогда красивыми.

Из нового – диван, простенький, с матерчатой обивкой темно-зеленого цвета. А вот пара кресел – явно из другого набора.

Стас присел.

Неудобное. Жесткое и скрипит, точно вот-вот развалится. Кольнула обида: мог бы Мишка взять денег и на нормальную мебель. Но нет, представлял себя небось гордым бедным родственником... правда, деньги все равно брал, и в последние месяцы приличные суммы... на что уходили?

Стас нахмурился.

А если Людочка ошиблась? Если... наркотики стоят немало, и если так, то все логично... или нет? Стасу не случалось водить близкого знакомства с наркоманами, но он предполагал, что квартиры их выглядят несколько иначе.

У Мишки было чисто.

Нет, пыль, конечно, собралась, но это естественно, в квартире-то несколько дней никто не убирался, но кроме пыли... порядок почти армейский.

Кровать заправлена, как учил отец, идеально, покрывало по линейке. Подушка сверху. Наволочка чистая, даже пахнет освежителем для белья. И простыня. Значит, меняли белье не так давно.

Наркоманов вряд ли заботят такие мелочи, как грязные простыни.

В шкафу вещи разложены по полкам.

Майки. Рубашки. Свитера.

Брюки на вешалках, на старых зажимах. И костюм имеется универсального черного цвета.

– Стас! – Людочкин голос заставил отвлечься от созерцания шкафа. – Вы не могли бы... Он может.

Многое может. Не спать трое суток кряду. Или даже четверо, но на четвертые голова становится ватной, неудобной. Может не есть или есть, но что придется, а приходится – что под руку попало. Может улыбаться, когда охота разбить голову собеседника о стену... договариваться... унижаться, чтобы получить нужный контракт... или, напротив, притворяться незаинтересованным, заставляя унижаться других.

Может быть последней сволочью, потому что в бизнесе только такие и выживают.

– Смотрите, – Людочка стояла перед открытым холодильником.

Старенький совсем... пожалуй, едва ли не старше самого Стаса. И странно, что он еще работает. Гудит. И морозит. Морозильная камера с отломанною дверцей, которую прикрутили проволокой, чтобы вовсе не отвалилась, пока не затянуло ледком.

Размораживать холодильник приходилось раз в два месяца.

Но Людочку вовсе не камера удивила, наверняка видела, если заглядывала в гости. А она явно заглядывала, потому и чувствовала себя в квартире куда свободней, чем Стас.

– Интересный набор, правда?

Банка красной икры. И бутылка неплохого шампанского. Сыр с плесенью. Мясная нарезка... прозрачная коробочка с пирожными.

– Там и шоколад есть, – сказала Людочка, и в тоне ее послышались обвиняющие нотки. – Что вы об этом думаете?

Думать Стасу было сложно. Голова, конечно, не болела, за что Людочке огромное спасибо, но мысли в ней были скомканные, не связанные между собой.

Стас нахмурился. Вот не любил он подобные состояния, чувствовал собственную беспомощность.

– Думаю... решил отметить... выставка открывалась завтра... то есть позавчера... должна была открыться на следующий день, когда он... – Стас замолчал, запутавшись в днях.

Но Людочка его и так поняла.

– Получается, что Мишка отправился в галерею... скажем, решил проверить, все ли готово к открытию. Но он не планировал задерживаться в галерее надолго. Собирался вернуться.

Логично?

Вернуться и отметить... правильно, если бы не так, не стал бы шампанское в холодильник засовывать. Места в этом холодильнике не так и много.

– И картины он не планировал уничтожать... и уж тем более не стал бы принимать что-то...

– А под влиянием момента? – Стас бутылку поставил на стол. – Скажем, расстроило его что-то... или увлекся работой, а потом...

– Возможно, но маловероятно. Миша... он любил все планировать. Не самое обычное свойство для творческого человека. Он говорил, что это – сила привычки. Ему удобнее, когда все по плану... более того... у него на шоколад была аллергия.

Да, теперь Стас вспомнил.

Шоколадные конфеты и красные щеки, которые зудели. Мишкино хныканье, отцовское недовольство. Досталось обоим, но Стасу больше, потому как он старше Мишки и должен был присматривать за братом.

– Тогда зачем шоколад? И пирожные... сыр... это женский набор, – сказала Людочка, отправляя упомянутые пирожные в мусорное ведро. – И женщина эта появилась после Ольги.

Видя Стасово недоумение, Людочка пояснила:

– Ольга предпочитала виски. Или пиво на худой конец.

Женщина, которая появилась после Ольги... вместо Ольги... с которой Мишка планировал встретиться или в галерее, или возле галереи, или домой пригласил... и если женщина эта была настолько важна, что Мишка убрался в квартире, что купил шоколад и треклятые пирожные, шампанское, которое и вправду женский напиток, значит...

– Не спешите с выводами, – попросила Людочка. Она выглядела спокойной, отрешенной даже.

Стояла. Продукты складывала в пакет. А сложив, протянула Стасу.

– Себе оставьте.

– Мне и так сенполии достанутся...

Мысль, мелькнувшая было на краю сознания, оформилась.

– А... давно он увлекся этими вот... – Стас ткнул в горшочек пальцем. – Сенполиями?

– С полгода уже... да, пожалуй...

Полгода.

И тогда же Мишка впервые снял с карточки более-менее крупную сумму.

– А... Ольга эта его?

Людочка задумалась ненадолго, а потом с немалым удивлением произнесла:

– Примерно тогда же... думаете...

– Думаю, надо с этой вашей Ольгой поговорить.

– Она не моя, – уточнила Людочка. – Но вы правы... только сначала... вы ведь не заглядывали в мастерскую?

Стас пожал плечами: какая разница?

– Не заглядывали, – подтвердила она свою догадку. – Идем.

– Зачем?

– Затем, что если в этом доме и есть что-либо важное, то оно там.

Третья комната. Глухая.

Отцовская.

Прежде она запиралась на ключ, потому что детям в этой комнате делать совершенно нечего, а отец не верил, что Стас и тем более Мишка сумеют справиться с любопытством. Они и не справлялись.

Гадали.

Придумывали себе небылицы о том, что прячется за зеленой дверью. Как потом оказалось, ничего интересного. Старый однодверный шкаф с антресолью. Кровать. И письменный стол с аккуратными стопками бумаг. Коврик вязаный. И лампа под желтым абажуром. Книжная полка с книгами.

Куда все подевалось?

Мишка сказал бы, если бы Стас спросил, но он не стал мучить ни себя, ни брата вопросами. Он вообще не думал про эту комнату, судьба которой изменилась. К лучшему ли? Все вынесли. И обои, темно-зеленые, с цветами на них, исчезли. Стены выровняли и выкрасили в белый цвет, от обилия которого у Стаса моментально заныла голова.

Окно огромное.

И тройка светильников на тонких шнурах. Шкаф тоже белый, но изготовленный явно на заказ. Стойка с крючками. Несколько полотен, верно, Мишка счел их неподходящими для выставки.

Стас развернул первое.

Натюрморт: два яблока и вяленая вобла.

На втором – набережная, но серая, размытая, точно смотришь сквозь пелену дождя.

На третьем – женщина в желтом платье, и это платье, слишком яркое какое-то, привлекает внимание, а вот лицо свое женщина прячет, отворачивается, наклоняет шляпку с неправдоподобно огромными полями.

– Недавняя, наверно, – Людочка разглядывает картину. – Я ее не видела... набережную он в прошлом году написал. Весь день просидел. Осень. Дожди... потом неделю ходил простывший. А это – заказывали ему в бар один, но потом заказчики пошли на попятную... дорого, мол... аванс, правда, забирать не стали.

Альбом для набросков...

...у моего демона семь ликов.

И четвертый из них – отчаяние.

Демон, черно-белый, рисованный углем, был страшен.

И притягателен.

Уродлив.

Красив.

Стас переворачивал страницу за страницей. Лицо, изображенное когда тщательно, а когда, напротив, с удивительной небрежностью, всего-то парой линий, менялось. Иногда оно становилось вовсе женским, почти узнаваемым, а порой – нарочито мужским, с гротескными, обостренными чертами.

– Этого я не видела, – Людочка подошла сзади, а Стас и не услышал, как она... когда она... нет, Людочка не кралась, но ступала тихо. – Он был очень талантлив.

Был.

Хорошее слово. Был и нет. Осталось вот три картины, альбом с набросками и тот треклятый демон, единственный уцелевший из всех.

Стас отдал альбом и закрыл глаза.

Что-то не давало покоя... что-то очевидное, но все же ускользающее, ускользнувшее почти от Стасова внимания. А он никогда-то не был особенно внимателен. И теперь мучительно пытался вспомнить, что именно ему показалось неправильным.

Несуразным.

– Позвольте... – он забрал альбом.

Если не смотреть на лица... если просто листать... поза та же. Конечно. Поза неизменна, она и расслаблена, и все же чувствуется в ней скрытое напряжение. Тело распластано, вытянуто, отчего кажется несоразмерно длинным. Руки заброшены за голову. А голова запрокинута.

– Так он лежал.

Стасу показывали снимки с места. Это было нарушением правил, но Стас всегда умел правила обходить. Да и двигало им вовсе не праздное любопытство.

Он должен был знать правду.

– Тогда, – Людочка забрала альбом, – это совершенно определенно убийство. Передоз... многие думают, что передоз – это такая радужная смерть. Сделать укол и умереть, пребывая в блаженном забвении.

У существа – назвать его человеком язык не поворачивался – на лице не было и тени блаженства. Скорее невыразимая мука.

– На самом деле одна из самых грязных смертей. Рвота. Сильнейшая боль, которая скручивает тело. Озноб. При этом галлюцинации часты... все-таки работа мозга нарушена. И галлюцинации редко бывают мирными...

Демон не походил на Мишку.

Не то лицо, слишком мягкое, да и просто другое.

– Его убили, а потом уложили... зачем?

Людочка недоумевала совершенно искренне. И Стас сказал:

– Выясню.

Глава 4

Хождение по водам

Набережная была пуста.

То ли по причине плохой погоды – холодно, промозгло и с неба сыплется непонятная морось, не то снег, не то дождь, то ли по причине раннего времени.

Одиннадцатый час.

Кто гуляет по набережной в одиннадцатом часу? Будь суббота, может, и удалось бы встретить кого, но уж точно не в глухой понедельник, когда люди, еще не отошедшие от вялой истомы выходных дней, вернулись к работе.

Тем удивительней было видеть в этот неурочный час стихийную выставку картин.

Стас вдруг вспомнил, что набережная эта выглядела иначе.

Широкая. И с тополями. С постаментом, на котором тихо ржавел танк, с прямоугольной табличкой, на которой было выбито... а что именно выбито, Стас забыл. Но точно знал, что в прежние времена художники собирались на площади.

– Там сейчас чистая зона, – сказала Людочка и капюшон накинула. – Никакой уличной торговли.

Розовый пуховик шел ей чуть больше, чем драповое пальто, но все равно вид Людочка имела до крайности нелепый. И Стас крепко подозревал, что его новая старая знакомая прекрасно знает и про вид, и про пуховик со стразами, который хорошо бы смотрелся на подростке, и про многие иные его мысли.

А плевать.

– Кого мы ищем?

На них не обращали внимания.

Стойки с картинами, задернутыми прозрачным полиэтиленом, словно существовали сами по себе, отдельно от людей. Люди же, собравшись серой скучной стайкой, о чем-то тихо переговаривались.

Пили.

– Одного Мишкиного приятеля... стойте здесь. С вами они точно не станут говорить.

– Почему?

– Выглядите вы... не самым подходящим образом.

Выглядел Стас обыкновенно. Черные джинсы. Черный свитер. И черная кожанка. Но он спорить не стал, послушно остановился у парапета.

Гладкий черный камень.

А река серая. На Мишкиной картине река эта выглядела живой и даже обрела некий лоск, присущий рекам серьезным, вроде той же Темзы. И фонари светили загадочно, такими желтыми маяками. На деле же фонари были тусклы, а некоторые и разбиты. От реки тянуло гнилью, да и серое, грязное ее покрывало видом своим внушало лишь глубокую тоску.

Людочка о чем-то говорила с людьми.

Они слушали.

Кивали.

Перешептывались. Руками размахивали, точно спорили. Потом, повернувшись к Стасу, глядели уже на него. Трое. Паренек, молоденький, пожалуй, моложе Мишки. И седовласый мужчина того самого возраста, который принято называть неопределенным. Он вырядился в долгополую дубленку, явно женского кроя. На шею повязал алый платок. А вот голова его оставалась голой. Третьей была женщина. Во всяком случае, Стас решил, что это именно женщина.

Все-таки в юбке.

А вот лицо у нее по-мужски жесткое, неприятное. Неужели та самая Ольга, которая едва не стала невестой Мишки? Такая, пожалуй, могла бы и убить.

Людмила махнула рукой, приглашая подойти.

И Стас подошел.

– Добрый день.

– Здрасьте, – пробурчал парень, а мужчина с женщиной величественно кивнули, всем видом своим давая понять, что исключительно из милости и сочувствия снизошли до беседы со Стасом.

– Это Мишины друзья. – Людочка указала на паренька: – Андрей.

Мужчину в дубленке звали Всеволодом. Женщину – Вильгельминой. И Стас еще подумал, что имя это ей идет, такое же неженственное.

– Друзья, Людочка, это громко сказано... так... были знакомы... порой приятельствовали, – Всеволод вытащил платок и громко высморкался. – Конечно, мы слышали о том, что случилось... печально... очень печально... Мишенька был талантливым молодым человеком... подавал большие надежды...

Вильгельмина фыркнула и отвернулась.

– Вы так не думаете? – Стас не знал, как держать себя с этими людьми и о чем вообще их спрашивать.

– Не думаю. Обычный рисовальщик.

– Миночка!

– Всеволод, да не надо притворяться, будто ты о нем и вправду печалишься. – У Вильгельмины голос оказался тонким, с визгливыми нотами. – Напомнить тебе, что ты вчера говорил?

– Был не в себе, – Всеволод покосился на Стаса. – Вы уж извините, но Миночка у нас женщина простая... прямая, я бы сказал. О чем думает, то и говорит.

– Ничего, – успокоил Стас.

– Я же полагаю, что Мишенька был талантливым молодым человеком... перспективным, – это слово Всеволод произнес медленно и по слогам. – Другое дело, он решил, что уже достиг вершины... что ему нет нужды работать... а я вам так скажу, талант – это лишь малая доля успеха. И гений должен работать, постоянно, много...

– Миша работал, – тихо произнес Андрей.

– Ах, Андрюша тоже молод... максималист... он думает, что если Миша писал, то он работал...

– А разве нет? – Стас изобразил удивление. – Извините, я ничего не понимаю в живописи.

Всеволод кивнул, извиняя.

– Понимаю... видите ли, писать – это... это просто... технический навык, не более того. Суть же творца состоит в движении. В постоянном поиске себя. Самосовершенствовании... долгих размышлениях...

Судя по всему, размышлять Всеволод любил.

– И только так появляется истинный гений... ваш же брат писал все, что видел. Эту вот набережную, к примеру... препошлейшая вышла картинка. Или вот цветочки... ромашки-незабудки-маки... кому в наше время нужны цветочки?

– У него даже образования приличного не было! – встряла Мина. – Самоучка.

И вздернула подбородок, у нее определенно образование было, и потому Мина полагала, что стоит несоизмеримо выше Михаила.

– Вы не подумайте, что мы завидуем... Мишеньке несказанно повезло, что у него есть такой брат... – Всеволод смотрел изучающе, и под взглядом его прозрачных, каких-то нена-

стоящих глаз Стас чувствовал себя до крайности неудобно. – Мы прекрасно понимаем, что вами двигала родственная любовь... чувство долга...

– Почему у меня нет богатых родственников? – пробормотала Вильгельмина, отворачиваясь.

Вопрос был явно риторическим, а потому отвечать на него Стас не стал.

– Вы сами признались, что ничего не понимаете в искусстве... а современное искусство таково, что простому обывателю тяжело его воспринять... вот, к примеру... моя работа, пройдемте. – Всеволод взял Стаса под руку и повел к стенду. – Я назвал ее «Ноктюрн № 3». Чувствуете, какая мощная энергетика? Заряд?

Стас кивал, хотя чувствовал лишь недоумение.

Квадрат холста. Желтое поле. Красные пятна и синие брызги. Если это современное искусство, то Стас тот самый обыватель, который это искусство воспринимает явно с трудом.

– А это «Осень»...

Второе полотно, на сей раз в буро-черных тонах. Быть может, есть за этими хаотическими пятнами глубокая мысль и даже идея, но Стасу она не видна.

Впрочем, в приемной, помнится, висит что-то этакое, современное и концептуальное, малопонятное, подаренное кем-то из партнеров. И надо полагать, Всеволодовы ноктюрны вкупе с осенней хандрой были не хуже.

– У меня огромный потенциал, но увы. – Всеволод потирал бледные вялые руки. – Нынешний мир искусства насквозь прогнил... уже никому не нужны идеи, творцы, но лишь презренный металл... насколько я знаю, картины Мишенька уничтожил?

Стас кивнул, уже понимая, к чему идет разговор.

– Но выставку его вы проплатили... так к чему пропадать деньгам? Конечно, мне безумно жаль Мишеньку... он такой... милый был... вежливый... не буду лгать, что мы дружили... нет, я скорее был его наставником... советчиком... и Мишенька был очень мне благодарен за помощь. Уверен, он не стал бы возражать...

– Я подумаю.

Нельзя отвечать отказом: оскорбится. И раненое самолюбие, которое ранено давно, но рана эта не зажила и не заживет уже, сделает Всеволода врагом. Конечно, Стасу враги не страшны, тем паче такие, но... как знать, вдруг да пригодится этот нелепый гений в женской дубленке.

– Конечно, думайте... но уверяю вас, когда меня заметят, мои картины будут стоить очень и очень дорого... вы ведь деловой человек... и сейчас вы можете вложиться в собственное будущее...

Стас вытащил кошелек.

– Вот, – он протянул Всеволоду пять тысяч, – вас не было на поминках. Выпейте за Мишку...

Выпьет.

И скорее всего немедленно.

– Но вы все равно подумайте! – Купюра исчезла в широком рукаве. – Если решите, то я всегда здесь... или спросите кого...

Стас кивнул: спросит.

Знать бы еще, кого.

– Вот скотина, – Мина демонстративно повернулась к Владиславу спиной.

– Вы это о ком?

Мину Людмила помнила. Та бывала у Мишки в гостях, не сказать, чтобы часто, но появление ее приводило Ольгу в ярость. И кажется, Мина это знала, а потому заглядывала исключительно тогда, когда Ольга была дома.

Она выходила курить на лестничную площадку, поднималась, садилась на широкий подоконник, подвигая фикусы Анны Павловны, что последнюю тоже невероятно раздражало, но раздражение свое она предпочитала доносить до Людочки. Мина же курила, и отнюдь не пахитоски, но обычные сигареты, крепкие, если не сказать – ядреные. Запах их потом долго стоял на лестничной площадке.

– Я о Славке, – Мина к Людмиле относилась снисходительно. Впрочем, так она относилась ко всем людям, глядя на них с высоты собственного роста, которого несколько не стеснялась. – Глянь, как жопу лижет... прям стелется весь.

Владислав кружил вокруг Стаса, о чем-то говоря, и говорил быстро, эмоционально. Стас слушал. Кивал... выглядел спокойным.

Неплохо выглядел.

Почему-то Мишкин старший брат представлялся Людмиле иным. Богач. Сноб. Человек, который всех других людей оценивает исключительно по толщине их кошелька. А Людочкин был тощ, что дворовый кот.

– Говорит небось, чтоб Мишкину выставку ему отдали... – Мина вытащила сигарету и, размяв пальцами, в рот сунула. – А чего вы приперлись?

Она была демонстративно груба, но грубость эта вызывала у Людмилы лишь жалость.

Так грубят, пытаясь защитить себя.

– Спросить кое о чем... ты... ты вправду думаешь, что Михаил...

– Ширялся? – Мина щелкала одноразовой зажигалкой, но огонька не было. – Вот ж-жопа... Мишка не ширялся. Так, баловался однажды травкой... кто не балуется?

Людмила могла бы ответить, но промолчала.

– Потом сказал, что это не по нему... у него мозги плавились, а Мишка любил, чтобы голова ясною была. Он и не пил-то почти... убили его.

– С чего ты взяла?

– С того, что он не ширялся, а умер от передоза, а теперь вот ты явилась с вопросами. Слушай, попозировешь, а?

– Зачем?

У Людмилы не было ни малейшего желания позировать.

– У тебя лицо интересное. Правда, прическа тебе не идет. Короче надо. Если хочешь, я постригу.

– А ты...

– Парикмахер. Живописью не прокормишься. Теперь вот... – Мина вытащила вторую зажигалку. – Я хороший парикмахер. А художник...

Она все-таки закурила, втягивая дым жадно, глотая его.

– Мишку пришили... тут и ловить нечего...

– Кто?

– А я откуда знаю? Нет, ну ты глянь на паршивца... весь из себя гордый... прямо-таки непродávающийся человек искусства. Тебе такие встречались?

– Я не слишком хорошо знакома с людьми искусства, – Людмила постаралась быть дипломатичной.

Всеволод взял Стаса под руку и повел вдоль набережной. Парочка смотрелась забавно. Высокий Стас, в облике которого проскальзывало что-то бандитское, и нелепый Всеволод, отчаянно жестикулирующий, но одной рукой. Второй он крепко удерживал добычу.

Стаса даже немного жаль стало.

– А из ваших... я знаю, что Мишку недолюбливали. – Людмила отвернулась.

– Недолюбливали... хорошее слово... недо... у нас тут все немного недо... недореализованные гении, у которых недоделанные шедевры годами стоят. – Мина бросила недокуренную сигарету и с наслаждением раздавила. Носила она ботинки военного образца, грубые,

на толстой подошве, и эта обувь как нельзя лучше подходила ее облику. – Мишке завидовали. И я завидовала.

Она произнесла это с вызовом, уставилась на Людмилу выпуклыми глазами, ожидая осуждения или упрёка, но Людмила такими глупостями не занималась.

– Но ты не убивала.

– Спрашиваешь или утверждаешь?

– Надеюсь.

– Мишка... понимаешь, он вроде и неплохой парень был. Душевный. И помочь всегда готов... я как-то в больничку угодила, так он один из всех наших навещал. Мандаринок принес. Терпеть не могу мандарины, но было приятно. Вот только... это натура моя гадская... хороший, да... заказы эти, которыми он пробивался... наши шипели, что настоящий художник не опустится малевать рекламные плакаты. Но это от зависти. У них не получалось. И у меня не получалось. Сколько я побегала по городу... и объявления давала... пару раз получила заказ, да и то в первом случае с деньгами кинули, а во втором вообще работу не приняли. А у Мишки ладилось.

Она присела на парапет и вытащила новую сигарету, повертела, но не убрала.

– Пытаюсь бросить, да, видать, хреново пытаюсь... недо... наши Мишку за это его... везение, скажем так, недолюбливали. А уж когда о выставке речь зашла... в нашем-то болоте и персональная выставка... некоторым везло, договаривались, чтобы пару-тройку картин в галерею взяли. Типа на продажу... но персональная... и значит, в газетах напишут. А там уже... я-то понимаю, что как помянут, так и забудут. Но наши зудели... все дерьмо, которое было, вскипело. А дерьма в людях немало... решили, что сначала братец Мишке тут выставку купит, а там уже и в Москве или Петербурге... Ивашкин вообще говорил, что вроде как потом в Германию картины повезут.

– С чего он взял?

– А я откуда знаю, – Мина все-таки закурила. – Не буду врать, что я в стороне от этих сплетен осталась... но зла Мишке точно не желала. Убить... зачем?

– Не знаю.

– И я не знаю. Это Славка наш думает, что Мишкиного братца уговорит выставку отдать, но хрена с два у него выйдет. Я таких, как этот, знаю. Морду сделают клином и адью. Но Славке невдомек...

– Могли убить ради выставки?

Мина покачала головой, а Андрей, который стоял рядом, тихо сказал:

– Его не наши убили.

– А кто?

– Картина.

Мина расхохоталась. Смех ее больше напоминал воронье карканье, был хриплым, неприятным.

– Кар...кар...картина...

– Он сам говорил, что демон его не отпускает...

– Байки, – фыркнула Мина.

– Ага... а с Пряхой тоже байка была?

– Кто такой Пряха?

– Ванька Пряхин... он в позапрошлом году... того, – Мина махнула рукой. – Упился вусмерть. А ты, Андрюшка, не равняй. Если Мишка не по этому делу был, то Пряху трезвым никто никогда и не видел...

– А с Гошкой? – Андрей насупился. – Что, скажешь, тоже сам...

– С крыши упал. Нажрался до белочки и сиганул, – пояснила Мина.

– И все равно... – Андрей не намерен был отступать. – Они все за ту картину брались... а она проклятая!

Он тоненько взвизгнул.

– В черном-черном городе... – засмеялась Мина. – Не слушай. Или слушай, как сама хочешь... Андрюшка у нас любитель сказки страшные рассказывать.

– Это... это не сказка! Мне Мишка сам сказал, что она оживает, что... что лучше бы он не соглашался... и Гошку он знал... и боялся, что тоже... только никому не говорил, потому что засмеяли бы...

– Никому не говорил, а тебе сказал.

Андреевы уши покраснели, правда, возможно, не от стыда, но от холода, потому как вязаная шапочка эти уши не прикрывала.

– Минка... ты вот... ничего не знаешь, а лезешь тоже... это картина его убила!

– Расскажи, – попросила Людмила.

В проклятье она не слишком верила, а страшных баек могла и сама рассказать немало, благо у иных пациентов случались на диво впечатляющие галлюцинации, о которых те повествовали ярко, с душою.

– Так... это... – Андрей покосился на Мину, которая повернулась боком, делая вид, что всецело увлечена созерцанием грязных вод местной речушки. Но не оставалось ни малейших сомнений, что Мина слушает. – Ну... в общем, короче...

– И длиннее, – буркнула Мина.

– Мишке заказали копию «Демона», ну того, значит, который поверженный. Ну, врубелевского, – Андрей смущался и от смущения приплясывал.

Вздыхал.

Хлопал себя по бокам.

– Мишка поначалу отказался... он же не дурак, чтоб связываться с такой картиной... а ему денег посулили... много.

– Сколько? – поинтересовалась Мина.

– Десять штук. Баксов, – Андрей ответил с готовностью. – И еще аванс дали. Штуку. Я пришел, а Мишка, значит, сидит и бабло считает... ну я и спросил, откуда. А он засмеялся, сказал, что за картину заплатили... и я офигел прямо. Нет, если б он и вправду знаменитым был, то оно понятно, а вот так...

– У нас любой за десять штук удавится, – Мина сказала это, не соизволив повернуться к Андрею.

– Ну... он потом от наших ушел... то есть раньше каждую неделю тут появлялся, а вот... ну... значит, Славка и говорит, что Мишка загордился... и вообще сноб он... а я к нему... мало ли, вдруг чего приключилось. А он мне дверь не сразу открыл. И весь такой... ну, такой...

От неумения выразить увиденное словами Андрей сник.

– Волосы дыбом... в краске... и глаза такие, ну, значит, дикие глаза. И еще такой на меня, мол, чего приперся. А Мишка, он же всегда был... ну таким, добрым, значит. Я его и спросил, может, чего случилось. А он засмеялся и в квартиру позвал. Чай пить. Потом сказал, что случилось... что он своего ангела нашел. Прикиньте? Он так и заявил, мол, парадокс, начал писать демона, а отыскал ангела...

– Как ангела звать, ты, конечно, не спросил, – Людмиле эта история нравилась все меньше.

И получается, что она, Людмила, которая думала, будто бы дружна с соседом, и даже не дружна, а близка, как бывают близки лишь кровные родственники, на самом деле ничего о нем не знала.

Картина проклятая.

Ангел.

Десять тысяч... это ведь огромные деньги по местным меркам. И в квартире их не было. Забрали? Или Мишка успел потратить? Но на что?

– Он тогда только и говорил, что про картину эту... а поглядеть не дал, сказал, что на выставке, что... он не просто копию делает. А по мотивам, значит... ну и мне любопытно стало. Я и заглядывал... где-то раз в неделю. Иногда Мишка нормальным был, ну, как прежде. А иногда вообще шальной... один раз вовсе долго не пускал. А когда пустил, то в квартире духами пахло. Я тогда еще подумал, что он с бабой кувыркался...

– Видел ее?

Баба.

Женщина. Или девушка, тот самый полуразмытый силуэт на полотне. Незнакомка, для которой предназначалось шампанское и треклятый шоколад.

– Не-а, – помотал головой Андрей. – Мишка меня тогда в магазин послал. Ну, чтоб жвачки какой купил, а то у него вообще голяк...

– А ты и пошел. – Мина бросила сигарету в воду. – Идиот ты, Андрюшка... сказочный. Он насупился.

– Это картина его!

– Картины не убивают, – заявила Мина.

И Людмила охотно с ней согласилась: картины не убивают. В отличие от людей. И чтобы понять, что же произошло, ей придется найти ту неизвестную женщину, не то ангела, не то демона.

Знать бы еще, где ее искать.

– Гошка перед смертью тоже говорил, что демон на него смотрит! – не сдавался Андрей. – Так мне и заявил, что, мол, спать не может, потому как тот пялится...

– Пить меньше надо было... – Мина спрыгнула с парапета. – Не знаю, кто Мишку уколошил, но точно не картина...

Стасу стоило немалого труда отделаться от Всеволода, преисполнившегося странной убежденности, что чем больше он говорит, тем солиднее выглядит. А говорил он большей частью о современном искусстве, предмете, который сам по себе был Стасу мало интересен, а в Всеволодовом исполнении, обильно сдобренном терминами, и вовсе невыносимо скучен. Спасла Людмила.

– Извините, нам пора. – Она взяла Стаса под руку, и Всеволод нахмурился.

– Мы только...

– Мы опаздываем, – Людочка, к счастью, не собиралась отступать. – В другой раз побеседуете.

– Конечно-конечно... непременно, – Всеволод нехотя отступил. – Я ведь дал вам свою визитку?

– Шесть штук, – буркнул Стас.

– Я буду ждать звонка... вашего решения... надеюсь, – Всеволод склонил голову набок, – вы примете правильное решение!

Это было произнесено с явным подтекстом. И у Стаса появилось почти непреодолимое желание дать Всеволоду в морду. Желание было для него новым, поскольку характером Стас обладал на диво уравновешенным и до сего дня склонностей к мордобитию не проявлял.

– Позвоните. Обязательно позвоните... или, может, я сам... вы занятой человек...

– Идем, – велела Людочка, потянув Стаса. – И не оборачивайся.

Оборачиваться Стас и не думал, больше всего он боялся, что Всеволод бросится следом, станет требовать номер телефона или адрес... или еще что-нибудь.

К счастью, тот остался на набережной.

– Господи, – лишь на стоянке Стас вздохнул с облегчением. – Я уж думал, что никогда от него не избавлюсь.

– Всеволод – не самый худший из них, – пожала плечами Людочка, которая определенно не усматривала в недавних событиях ничего странного.

– Репей. Надеюсь, ты меня притащила сюда не ради беседы с ним?

Людочка руку отпустила. И отступила на шаг. Нейтральное расстояние, приличествующее при беседе с малознакомым человеком. Стасу вдруг стало обидно. Разве он малознакомый? Он ее с детства знает. Просто в их знакомстве случился некоторый перерыв.

Бывает же и такое.

– Нет... кое-что интересное рассказали. Мина тоже думает, что Мишку убили. А вот Андрей уверен, что убила его картина.

– Чего?

Вот только всякой мистической хрени Стасу не хватало для полного счастья!

Людочка усмехнулась, а усмешка получилась кривоватой, усталой такой, и продолжила:

– Более того, Мишка не первая ее жертва. Были еще двое. Один упился... что это значит, я не скажу. Предполагаю, что отравление некондиционным спиртным имелось в виду. Второй в приступе белой горячки с балкона сиганул... но главное, что эти двое незадолго до смерти получили заказ. Картина по мотивам врубелевского «Демона».

Стас закрыл глаза.

...у моего демона семь ликов...

Он помнил тот, последний, оставшийся на полотне. Безграничная тоска. И глаза, в которые душу затягивает, словно в омут...

– Более того, – спокойный Людочкин голос не позволил вновь утонуть в этих глазах. – За картину Мишке обещали заплатить десять тысяч. Не рублей. И аванс дали... аванс Андрей видел.

– Не сходится.

– Что не сходится? – Людочка присела на мокрую лавку.

Неприятное место.

Черный асфальт стоянки. Пара же черных деревьев с обкромсанными ветвями. И быть может, когда-нибудь потом кроны разрастутся, но ныне деревья гляделись искалеченными. Лавка. Машины, покрытые зябью дождя.

Серые скользкие лавки.

И Людочка в розовом своем пуховике.

Интересно, как она жила? Наверное, не слишком радостно, если лицо такое усталое... женщин старят вовсе не годы, но тяготы быта, которые Людочка небось покорно взвалила на собственные плечи. И та самая жизнь, о которой Стас ничего не знает, обыкновенная. Не хуже, чем у других. Работа. Магазин. Дом. Стирка и уборка по выходным. Готовка, когда не лень готовить для себя. Затянувшиеся поиски, уже не принца, но хотя бы кого-то, с кем можно попытаться создать семью.

– Он снимал деньги с карточки, – Стас тоже сел, хотя лавка и выглядела довольно-таки грязной. – Не подумай, что я слежу... мне просто приходят отчеты по всем картам, банковские выписки и все такое... он дважды за последние полгода превышал лимит. А лимит приличный там... а раньше карточкой вообще не пользовался. Брать даже не хотел. Я закрывал задолженность... я... я даже радовался... ну, то есть получалось, что если Мишка принимал деньги, то и меня простил.

– Он на тебя злился.

– Я знаю.

Дождь пошел. Если утром была непонятная морось, взвесь серая, которая еще не дождь, то нынешний зарядил. И был холодным, но почему-то пах ванилью.

Ерунда какая.

Стас даже понюхал руку, чтобы убедиться, что запах этот ему примерещился.

– Он думал, что ты его бросил.

Наверное, сейчас не самое удачное время для разговора. И место тоже. Подобные беседы стоит заводить где-нибудь в тихом кафе или дома, но Людочка вряд ли пригласит к себе в квартиру, а Стас не пойдет в Мишкину.

– Я не бросил. Я просто... ну вот не умею я по телефону говорить! То есть умею, но... как-то оно криво получается. Привет. Как дела. Нормально. И у меня нормально. И всякий раз выходит, что и рассказать-то особо нечего. Не будешь же пацана грузить проблемами с таможней. Или поставщиком, который тебя кинул... или еще какой-нибудь хреню... а порой, понимаешь, крышу рвало...

Получалось, будто Стас оправдывается. А он ни черта не оправдывается! Он и вправду не умеет щебетать, чтобы часами и ни о чем.

Он не бросил свою семью.

Он деньги присылал. Сколько было, столько и присылал. А остальное – это уже получилось так... хреново получилось, что уж говорить...

– Ему было сложно, – Людочка на дождь не обращала внимания. Сидела, ноги вытянула, длинные такие ноги, и джинсы узкие черные ей идут, во всяком случае смотрятся куда лучше дурацкого этого пуховика. А ботинки вот на высокой подошве старые совсем. – У вашего отца непростой характер. Был. Он... скажем так, он считал Мишкино увлечение живописью совершенно неприемлемым для мужчины. Более того...

Людочка прикусила нижнюю губу, будто раздумывая, стоит ли вообще рассказывать о делах давно минувших дней.

– Он... с чего-то решил, что все художники... нетрадиционной сексуальной ориентации. Я не знаю, откуда это взялось, но когда он понял, что Мишка поступил в художественное училище... этот скандал слышали, кажется, все... и он за ремень взялся. Он часто за ремень брался.

Стас кивнул: он помнил эту отцовскую привычку, и ремень помнил, военный, широкий, аккурат в отцовскую ладонь. Еще пряжку со звездой, доставшуюся от деда.

– Мама знала... пыталась воздействовать, но, сами понимаете... что она могла?

Немногое.

Отец никогда никого не слушал.

Ни Стасову учительницу, которая ходила на Стаса жаловаться. Ни родителей, ни Людочкину мамашу с ее нотациями. Отец был уверен, что совершенно точно знает, как правильно воспитать сыновей.

– В тот раз... наверное, у Мишки лопнуло терпение... он ведь вырос уже... семнадцать лет... и сильный... худой, но сильный. В общем, он ответил... драка завязалась. Мама бегала разнимать.

Это Стас представлял плохо.

– Не только она. Помните, Виктора Степановича с третьего? У него как раз брат гостил... успокаивали их долго... твой отец кричал, что не потерпит дома гомосека... уж извините, но он так выразился. Мишка тоже орал, что отец со своими армейскими порядками его достал. Он ушел из дому. Неделью не появлялся... а потом у отца вашего insult случился.

– Я не знал.

Мишка не говорил про insult. И сам отец, с которым в последние годы Стас перебрался от силы парой фраз. Привет. Как дела... я вам там перечислил... что-нибудь нужно?

Наверное, стоило приехать.

Хорошие дети навещают родителей. Выходит, что Стас не самый лучший сын, а ему казалось, что он все делает для семьи.

И своей не появляется.

Точнее, появляются какие-то женщины, приходят и уходят. Строят на него, на Стаса, планы, а он этим планам не соответствует. И женщины обижаются, начинают выплескивать на Стаса обиды. А потом, к несказанному Стаса облегчению, все-таки уходят...

— Он в больницу попал... больше месяца там провел... оказалось, что инсульт у него не первый, что он на ногах переносил... Мишка его на ноги поднимал. Мама моя тоже помогла...

А Стас понятия не имел.

И теперь вот злость разбирает, что на брата дорогого, что на отца... почему не сказали? Стас бы нашел хороших врачей. И сиделку. И вообще все, что нужно. Он ведь зарабатывал прилично. Хватило бы на клинику нормальную, даже за рубежом хватило бы.

А они молчали.

Из гордости глупой? Из нежелания навязываться?

— Я не знал, — прозвучало оправданием, и оправданием слабым.

Но Людочка кивнула.

— Я говорила Мише, что это глупо, но он... он был очень обижен... и считал, что вы сами не хотите иметь с ним, с отцом ничего общего, а у отца вашего вообще характер. Не будет он навязываться.

И от этого характера еще тогда Стасу хотелось на стены лезть.

Из-за этого характера он, пожалуй, и избегал появляться дома. Убеждал себя, что занят... и был занят. Бизнес требовал постоянного внимания. Но помимо бизнеса были еще упреки отца, которые Стас не готов был выслушивать. Он представлял себе отца, сухолицего, подтянутого, в домашнем спортивном костюме, который сидел на нем едва ли не формой.

Представлял портсигар.

Сигареты.

Хриплый голос. Ровный тон, которым отец высказывал упреки. Всегда в глаза. И слова находил такие, от которых вскипало в груди тихое бешенство. А ведь, если разобраться, ничего оскорбительного он не говорил. Правду. Но правда в его исполнении получалась какой-то перевернутой.

— Он меня так и не простил, — Стас вытер лицо.

Мокрое.

И руки мокрые. И дождь больше не пахнет дождем, но прелой листвой, и землею свежей, и запахи эти напоминают о кладбище.

— Он думал, что я пойду в военное училище... он ведь военным был... и мой дед... и прадед... и династия целая, а я вот в бизнесмены подался. Он всегда презирал тех, кто деньги ставил выше чести. Получилось, что я его надежды обманул... и не только его, всей семьи. И Мишка тоже... наверное, он думал, что если не я, то хотя бы он. А получилось, что оба не пожелали в армию.

Может, именно это отца и убило?

Не инсульт, но осознание того, что династия военных на нем прервется?

— Ты не виноват.

— Я знаю.

Но знание не избавляет от чувства вины.

— Вот и вышло... как вышло... потом, после похорон, я все-таки приехал и... все равно не получилось разговора. Я думал, что Мишка остынет, успокоится, тогда и нормально все будет. Я объясню. Он поймет. Обнимемся по-братски. Похлопаем друг друга по плечу,

и вообще все наладится сразу. А он не успокаивался. И не налаживалось... и только когда с выставкой этой...

Стас нахмурился.

Выставка.

Ему казалось, что это была именно его, Стаса, идея. Идея хорошая, если не сказать – замечательная. Та самая протянутая рука, которую Мишка точно не оттолкнет...

– Знаешь... – Он потер мокрый лоб.

А ведь вымок-то до рубашки, до майки даже. Вода на куртке, вода под курткой, и холодно, неудобно, но в то же время и мысли нет, чтобы встать и уйти.

– А ведь это он мне позвонил... тогда... полгода... да, где-то полгода тому... он мне прежде только дважды звонил. Когда отец умер, и потом еще раз, сказать, что ремонт делать в квартире будет. Вроде как я на нее тоже права имею. Честный. Мне эта честность показалась глупой донельзя... ну, то есть не глупой... и не честность. Наверное, не честность даже, а принципиальность такая вот, показушная... он мне тогда предложил выкупить мою долю... я взбесился... опять наговорили друг другу глупостей... но в общем, не о том. Мишка позвонил. Сказал, что он договорился, вроде как две его картины в галерею приняли. В частную. А это вроде как большой успех. И он со мной этим успехом делится. Рад был, а меня тогда как бес толкнул... две картины всего? Какого хрена только две? Мишка собственную выставку получить может.

Людочка слушала.

Она определенно умела слушать, и качество это было крайне необычно для женщины. Прежние Стасовы все больше говорить любили и, как правило, о себе. О своих планах, надеждах... а о Стасе только когда он эти надежды не оправдывал.

Странно сравнивать.

Людочка... девочка-отличница. Платье школьное, коричневое, с юбкой в складочку. Кружевной воротник. Белые манжеты. Фартук черный.

Портфель.

Косички две жиденькие, которые она до выпускного класса, кажется, носила, хотя косички – это для детей. Но у Людочкиной мамы были собственные представления о приличиях.

Та Людочка не могла себе позволить ни плохих оценок, ни скоротечных школьных романов с поцелуями у запасной лестницы. Та Людочка осталась в прошлом, как остался и сам Стас с твердолобой уверенностью в том, что школьные науки ему не нужны.

Он отряхнул воду с волос и поднялся.

– Пойдем.

– Куда?

– Куда-нибудь. А то промокнешь. Простудишься.

Она фыркнула, будто сама эта забота была Людочке смешна.

– Это была его идея, с выставкой... – Стасова неудобная мысль оформилась. – Мишка меня грамотно навел... картины... приглашение на какую-то тематическую... упоминание, что в галерее этой и персональные организуют, но это дорого... а я, дурак, и ухватился. Дорого, значит, возможно. Да и не так уж дорого оно оказалось...

После улицы воздух в салоне машины показался горячим, словно в бане. И Людочка расстегнула пуховик, под которым обнаружился красный просторный свитер.

Красный был ей к лицу.

А прическа все равно неудачная.

– Отвези меня к Старому рынку, – попросила она, откидывая влажные волосы. – Попробую с Ольгой встретиться. Может быть, она что-то знает.

И больше ни о чем Стаса не спрашивала.

А он и не говорил.

Старый рынок остался прежним. Полуразвалившаяся стена, дорога в ямах и древняя автобусная остановка. Старух вот не было, то ли по причине дождя, то ли по причине все того же понедельника. По понедельникам Старый рынок не работал.

Дома, его окружавшие, тоже были старыми.

Пятиэтажки серого скучного цвета, глядевшиеся грязными. Мутные стекла окон. Вереницы разномастных балконов. Иные застекленные, обшитые сайдингом, другие – исконного вида, пусть и потрепанные временем. На этих, открытых, сушилось белье, но и оно выглядело застиранным, забытым.

Мертвое место.

– Я могу подождать, – предложил Стас.

– Не стоит, – Людочка выскользнула из машины неловко. – Лучше попробуй узнать про Ивана Пряхина... а Гошкиной фамилии не знаю. Но не думаю, что в нашем городе много самоубийц.

Наш город.

Она так произнесла, будто этот город и вправду был не только ее, но и Стасов.

Глупость.

Он уехал. Оставил. Обжился, пусть не в Москве, а в Екатеринбурге, там тоже хватает возможностей для бизнеса. И к Екатеринбург, шумному, растрепанному, по привычке. А эта провинциальная глушь действует на Стаса угнетающе.

С другой стороны, Людочка права. Вряд ли здесь много самоубийц.

Но сначала Стас заглянет в другое место.

Эпизод 1

Города

Раз он продал дивный рисунок из «Каменного гостя» – Дон Жуан за 3 рубля. Так просто кому-то. И купил себе белые лайковые перчатки. Надев их раз, бросил, сказав: «Как вульгарно»¹.

Ныне, на излете жизни своей, я благодарю Провидение за то, что позволило оно стать молчаливым свидетелем жизни человека, пред гением чьим я преклоняюсь. И в то же время я клянусь себя за слабость, ибо сил моих малых не хватило на то, чтобы изменить предначертанное судьбой. Я пытался, и не единожды, и порой мне даже чудилось, что удача на моей стороне. Однако вновь и вновь демоны его бытия оказывались сильнее человека. Быть может, если бы он сам нашел в себе силы противостоять им, если бы в ту самую первую встречу, ставшую роковой, послушал бы моего совета и отступил, все сложилось бы иначе. Однако иные люди твердят, что Провидение же уготовило для каждого из нас свой особый путь. И если так, то все усилия мои были изначально тщетны. Мишеньке было суждено пройти по мукам. И как знать, не страдания ли души возвеличили его над иными людьми?

Я постараюсь рассказать сию историю таковой, каковой предстала она в моих глазах.

¹ Из воспоминаний К. Коровина.

Знакомство с Мишей я свел еще в далекие детские годы. У нас имелось много общего, что и позволило состояться не только знакомству, но и той детской дружбе, которую отличает удивительная искренность. Не буду лгать, что сохранилась она на всю жизнь, все же слишком разными мы были. Однако я всегда ощущал ответственность за Мишеньку, тогда как он платил мне немалой приязнью.

Мы родились в один год, хотя и в разных городах. Мишенькин отец, как и мой, был офицером. И не просто офицером, но преданным своей службе, которая требовала постоянных разъездов. Порой мне казалось, что все мое детство минуло в постоянных сборах и дороге. Как-то и Мишенька обмолвился, что самое раннее его воспоминание – огромный вокзал. Он не мог сказать, в каком из городов, где ему выпало побывать, стояло сие сооружение. Быть может, в Омске, а быть может, в Астрахани, Саратове или даже Одессе. И существовало ли оно вовсе таким, каким осталось в детской его памяти: огромным монстром, пожирающим людей. Мишеньку тогда поразила и суeta, и пестрота толпы... вскоре, по собственному его признанию, он возненавидел ее, а еще сборы и сопровождавшую их суматоху, вокзалы, раскаленные рельсы и пыхающих дымом монстров поездов. И неприязнь к переездам осталась у него на всю жизнь, в ней мне виделся отголосок детского страха, побороть который Мишенька так и не сумел. Впрочем, из всех страхов его этот был самым безобидным.

Отец Мишеньки, как и мой, и многие иные отцы, безусловно, желал сыну лишь добра, но в желании этом и в беспокойстве за душу Мишеньки он порой проявлял излишнюю строгость. Не раз и не два случалось Мишеньке быть наказанным за баловство, недостаточное, как виделось отцу, старание в учебе или вовсе за проказы, к слову, редкие, поелику был Михаил на редкость спокойным, серьезным ребенком. Нельзя сказать, чтобы эта отцовская строгость переступала границы, оборачиваясь жестокостью. Единственное, что, пожалуй, можно поставить в упрек его батюшке – излишнюю сухость, характерную, впрочем, для мужчин и военных. Мишенька же, обладавший натурой излишне впечатлительной, принимал ее за отсутствие любви.

Матушка Михаила, Анна Григорьевна, утомленная частыми родами, горем – из всех детей ее в живых остались лишь Мишенька и Анна, – слегла. Влажный и сырой воздух Омска усугубил течение болезни, и Анна Григорьевна преставилась, когда Мишеньке было всего-то три года. Он сохранил о матери самые светлые воспоминания, пусть и осознавал, что образ ее во многом рожден его воображением, а не памятью. Он не единожды рассказывал о том, как она, уже осознавая неизбежность смерти, все же находила в себе силы улыбаться. И лежа в постели, обессиленная, изможденная чахоткою, вырезала из бумаги фигурки людей, лошадей, фантастических животных...

Отец Мишеньки, верно рассудив, что не управится сам и со службой, и с хозяйством, и с Мишенькой, каковой рос ребенком болезненным, женился вновь. Женщину он выбрал с таким разумением, чтобы была она не столько красива или богата приданым, сколько являлась рачительною хозяйкой и доброю матерью. Ему посчастливилось не ошибиться с выбором. Я прекрасно помню Мишенькину мачеху, Елизавету Христиановну, женщину тихую, преисполненную чувства собственного достоинства. Рядом с нею было удивительно спокойно. Разговаривала она со всеми ласково, тихим голосом, и глаза ее голубые сияли особым внутренним светом. Мишенька говорил, что в них отражалась душа.

Как знать.

В огромном ее сердце хватило места и родным детям, и Мишеньке с Анной. Они же, сперва отнесшиеся к мачехе с прохладцею, все ж таки были живы их воспоминания о родной матери, после признали, что женщина сия многое сделала, чтобы жизнь их удалась.

Она, искренне ратуя за большое дитя, – а к трем своим годам Мишенька не умел и ходить, и многие врачи, к которым обращался Александр Михайлович, не готовый сми-

риться со слабостью сына, повторяли, что сии болезни происходят от врожденной телесной слабости – организовала ему особый режим. Елизавета Христиановна, будучи женою образованной, происходила из интеллигентной семьи. Сестрица ее, окончившая Петербургскую консерваторию, с охотою приобщала детей к музыке и театру, а брат придумывал всякого рода игры, способствовавшие развитию как разума и духа, так и телесному.

По просьбе же мачехи, ратовавшей за развитие гармоничное, Мишеньке было дозволено тратить время на живопись, занятие, по мнению Мишенькиного отца, пустое, несерьезное. И признавая за сыном несомненный талант в малевании, он все же не готов был позволить Михаилу сделать свой выбор.

Стоит ли говорить, что сам Мишенька ценил сии уроки больше, чем любые иные. И каждая минута, проведенная с учителем, а пригласили к нему известного в Саратове педагога Година, по собственному его призванию, была несказанно дорога ему. Он как-то обмолвился, что тогда еще, пребывая на распутье – и музыка, и театр, и живопись одинаково влекли его, в отличие от определенной отцом адвокатской стези, – он все же чувствовал, что именно рисование дарит особый душевный покой.

Еще одним событием, определившим выбор Мишеньки, стала встреча с фреской великого мастера Микеланджело, привезенною в Саратов. И по собственному его признанию, творение сие столь сильно поразило Мишеньку, что многие ночи, стоило закрыть глаза, он вновь и вновь видел его во всех, самых мельчайших подробностях.

В гимназию Мишенька поступил в Петербурге, но после, сопровождая отца, назначенного в Одессу гарнизонным судьей, продолжил свое образование там. Обладая живым умом и немалыми способностями к наукам, как естественным, так и гуманитарным, Мишенька легко справлялся с учебюю. И не было удивительным то, что гимназию он окончил с отличием.

Тогда же решилась и Мишенькина судьба.

Ни он сам, ни уж тем паче семейство его не помышляли о том, что Мишенька будет заниматься живописью. Нет, Александр Михайлович был преисполнен самых радужных ожиданий, ведь сын его, казалось, являл собою воплощение всех родительских чаяний.

На семейном совете было решено, что учиться Мишенька поедет в Петербург, в университет. Образование сие стоило немало, однако Николай Христианович, который искренне полагал Мишеньку племянником родным, пусть и не имели они меж собой того самого кровного родства, предложил не только оплатить учебу, но и предоставил собственную квартиру для Мишенькиного проживания.

Скажу, что впоследствии это решение, на тот момент казавшееся единственно верным, привело к тому, что университет Мишенька окончил в звании действительного студента, не сумев или, вернее будет сказать, не пожелав защитить заключительную конкурсную работу.

В Петербург отправился и я.

И так уж вышло, что мы вновь оказались вместе, пожалуй, причиной тому были семейные традиции, кои требовали от сыновей следовать отцовскою и дедовою стезей. Не скажу, чтобы к тому времени наша дружба перестала дружбою быть. Скорее уж вышло так, что Мишеньке учеба давалась легко, мне же приходилось добиваться всего немалыми усилиями. И сие наложило отпечаток на характер. Мишенька был мил и приветлив, я – замкнут и угрюм, всецело погружен в собственные мысли. Он – открыт и готов подхватить любую идею, которая только покажется в сию минуту стоящей. Я же ко всем идеям относился настороженно, привычно пытаюсь понять, хватит ли сил на их воплощение. Мишенька сам был горазд на придумки, которые студенческою братией принимались с восторгом, ибо фантазией он обладал неугомонной. Я же... я искренне полагал, что

не след тратить время на занятия, кои не принесут после никаких преференций. Как бы там ни было, мы оказались вместе, но порознь.

Мишенька был центром.

Солнцем, вокруг которого крутились иные небесные тела. Я же... я был слишком скучен, обыкновенен, чтобы на меня обращали внимание.

Первый курс мы учились оба, Мишенька, как обычно, блестяще. Я – с переменным успехом. Но на курсе втором он остался на второй год, отписав отцу, что желает упрочить полученные знания... а после и вовсе потерял к учебе всякий интерес. Его увлекало то одно, то другое. То он ударялся в дебри философии, то вдруг бросал Канта и возвращался к театру, который любил самозабвенно. В доме его дядюшки, человека достойнейшего, царила обстановка, не способствовавшая постижению скучных юридических наук. Николай Христианович сам был вовлечен в круги богемного бытия и с немалым удовольствием помог племяннику стать своим в этом обществе. Правда, сие требовало немалых затрат, и Мишеньке пришлось заняться делом. Он охотно брался репетиторствовать или даже служил гувернером, ибо умел находить общий язык не только с родителями, но и с детьми, харизмою своею увлекая их учебой.

Завидовал ли я ему?

Несомненно. Но... эта зависть нисколько не мешала нам приятельствовать, и при редких встречах я с удовольствием слушал Мишенькины рассказы. Теперь, оглядываясь на те годы, я могу с уверенностью сказать, что именно они были самыми счастливыми и беззаботными в Мишенькиной жизни. Тогда она представлялась ему простою и понятной.

Он ошибался, как и многие до него.

Когда все изменилось? В Киеве ли? Или еще тогда, когда Мишенька попал в семейство сахарозаводчиков Пампелей, где и обосновался на годы? В то время я, увлеченный собственной учебой, выпустил, признаться, Мишеньку из виду, а потому, встретив его в опере, куда мне случилось попасть, весьма удивился переменам. Куда подевался вчерашний студент и мой приятель? Откуда взялся молодой денди из тех, которых Мишенька еще недавно сам высмеивал прилюдно? Он же, глядя на меня свысока, снисходительно, сказал:

– Жизнь переменчива... а ты, мой друг, гляжу, все прежний...

Под взглядом его я остро ощутил собственную несуразность. И пусть платье мое не было грязным или неопрятным, однако было оно лишено всякого лоску. Да и сам я, признаться, обладал внешностью презаурядной, да и характером столь же невыразительным, как и внешность.

После той встречи я и узнал, что Пампели наняли Мишеньку репетиторствовать великовозрастному сыну, Мишенькиному сокурснику, который был пригоден к наукам еще менее, нежели я сам. Пампели являлись душевными людьми и приняли Мишеньку как родного. Зимой он ездил с ними в оперу, летом переселялся со всеми на дачу в Петергоф. Пампели ни в чем себе не отказывали, и всё у них было не похоже на строгий и скромный уклад в семье самого Врубеля; дом был полной чашей, даже излишне в буквальном смысле, и именно у Пампелей обнаружилась во Врубеле впервые склонность к вину, в котором здесь никогда не было недостатка.

Однако именно Пампели, очарованные Мишенькой, стали поощрять его увлечение живописью. Их усилиями он возобновил знакомство с Вилье, а также со студентами Академии художеств, каковую Мишенька и стал посещать вольнослушателем.

Естественно, его отец, уже осознавший, что чаяниям его не суждено сбыться, не одобрял такую вольную жизнь. Он писал Мишеньке гневные письма, укоряя его, однако же сии укоры не способны были отвести Мишеньку от пути, который он полагал собственным.

– Ты не понимаешь, друг мой. – Порой с ним случались приступы одиночества, когда Мишенька вспоминал вдруг о моей скромной особе, с которой он мог позволить себе быть откровенным. – Это мой долг перед обществом, особая миссия, работа в сфере между природой и свободой... познание сути... живого ее воплощения в искусстве...

Я слушал, как делал то с детских лет, однако то ли повлияло на меня столичное житие, то ли сам я стал взрослей, но за этими словами мне виделась пустота. Я и сам, как и многие студиязусы, не избежал увлечения философией Канта, однако никогда не полагал себя способным постичь истину в полной ее мере.

– Я чувствую в себе острейшую необходимость донести до всего мира...

Он мог говорить долго.

Я не вслушивался в слова, лишь кивал, и самого моего факта молчаливого присутствия хватало Мишеньке, чтобы выговориться и остыть. Тогда-то он и принимался обсуждать вещи, куда более приземленные и потому понятные мне. Мы с ним говорили о его сестрице Анне, об отце, который писал и мне, умоляя повлиять на Мишеньку, о Пампелях, учебе... и эти житейские беседы были мне дороги. Я-то в отличие от Мишеньки никогда не умел обзаводиться друзьями легко и в Петербурге имел нескольких приятелей, однако особо близких, душевных отношений ни с кем не сложилось. Полагаю, что и Мишенька, несмотря на всех людей, его окружавших, порой испытывал одиночество, иначе почему его влекло ко мне?

Как бы там ни было, но к цели своей Мишенька шел с завидным упрямством. В лице Чистякова он отыскал того учителя, который обладал бесконечным терпением, глубочайшим пониманием сути каждого из своих учеников, и для всех у него находились особые слова. И влияние, которое он оказывал не только на творчество учеников, но и на саму их жизнь, было воистину огромно.

Именно благодаря ему Мишенька добровольно отказался от всей той роскоши, которая окружала его у Пампелей, ударившись в аскезу, ибо через нее он полагал возможным снискать вдохновение. Нельзя сказать, чтобы путь его был прост и легок, нет, пожалуй, именно тогда Мишенька впервые столкнулся с тем, что одного таланту недостаточно, что не все, чего он желает, выходит именно так, как того хочется. Но при всем том трудности, как я того опасался и, признаюсь, втайне надеялся, не заставили его отступить.

Сразу скажу, что Академию художеств он не окончил, пусть и к концу учебы его многие называли талантливым, а композиция его «Обручение Марии с Иосифом» даже снискала серебряную медаль. Но формального этого успеха было Мишеньке недостаточно.

Он желал иного.

И тогда, на счастье, как казалось ему, Чистяков свел Мишеньку с Праховым.

Иногда я думаю, что было бы, ежели бы Мишенька отказался от поездки в Киев? Ежели бы вернулся к Пампелям, к легкой их жизни? Или, напротив, Адриан Викторович пожелал бы видеть не вчерашнего студиязуса, но человека с опытом? Я думаю о сотнях мелочей, которые могли бы повернуть Мишенькину жизнь по иному пути. И что было бы тогда? Не знаю...

Знаю лишь, что и Мишеньке было беспокойно перед отъездом. Он вновь вспомнил обо мне. И заявился в неподобающе поздний час в великом возбуждении.

– Пойми, – он никогда-то не думал о людях иных, полагая, что те неудобства, которые причиняет невольно, с лихвою компенсируются удовольствием от его общества. – Я знаю, что мне суждено туда ехать. И поездка эта перевернет мою жизнь...

– Перевернет. – Признаюсь, мне хотелось спать, потому и слушал я не особо внимательно. – Ты реставрируешь эти иконы... получишь деньги...

А денежный вопрос в последние годы стал весьма актуален.

– Станешь известен. – Каюсь, я не сумел сдержать зевка.

Мишенька лишь хмыкнул.

– Скучный ты человек, Андрюша, – сказал он мне, устраиваясь в кресле и видом всем своим показывая, что покидать меня не намерен, а намерен остаться едва ли не до утра. С ним порой случались приступы такого детского упрямства, когда он делал что-либо назло. – Приземленный. Деньги...

– Скажи, что они тебе не нужны.

Мишенька нахмурился.

Деньги ему были нужны, поскольку увлечение его живописью, как и предсказывал отец, доходу не приносило, но лишь ввергало в новые траты. Пампели пусть и содержали Мишеньку, но не платили ему денег. А тот единственный заказ, за который ему обещали двести рублей, Мишенька так и не исполнил должным образом. Отец же принципиально отказывался слать Мишеньке хоть бы рубль.

– Нужны. Но не все в этом мире можно измерить деньгами!

Он потряхнул головой.

– Я видел сон, – Мишенька закрыл глаза, и на лице его появилось выражение величайшего блаженства. – Я видел Киев и ту церковь... и ангела в ней, столь прекрасного, что я не имел сил отвести взгляд от лика его. Я любовался им... а он обратился ко мне...

– И сказал, что ты станешь знаменитым.

– Стану, конечно, – фыркнул Мишенька. – Вот увидишь, стану... но нет, ангел говорил со мной, а я... я не помню ни одного его слова!

Он вскочил, заметался по моей комнатушке.

– Я проснулся один! И в смятении, но я знаю, что он ждет меня там! И я должен ехать, должен, во что бы то ни стало... судьба зовет меня.

Было ли это и вправду знаком судьбы или же воплощением Мишенькиных фантазий и надежд, я не знаю. Но как бы там ни было, поездки этой Мишенька ожидал с нетерпением. И готовился явить себя.

Глава 5

Царевна Волхова

У Людмилы промокли ноги.

Мокрые ноги она с детства ненавидела, наверное, потому, что обладала воистину удивительной способностью находить лужи, даже когда они отсутствовали.

Мама расстраивалась.

Пугала простудой.

И заставляла пить луковый отвар, мерзкий привкус которого надолго оставался во рту. Когда Людочка повзрослела, то больше привкуса ее беспокоил запах вареного лука и еще чего-то гадкого, самой Людмиле напоминавшего вонь паленых тряпок.

Разве от красивой девушки может пахнуть палеными тряпками?

Нет, Людмила себя не считала красивой, уже тогда не считала. Да и мама не единожды подчеркивала, что главное – красота душевная. Тонкость чувств. А тело... Людмила в нее пошла. Чересчур высокая для девушки. Слишком худая. То ли дело Надька Кореванова, которая к шестнадцати годам оформилась.

Мама так говорила, скрывая за нейтральным этим словом и Надькин выдающийся бюст, и прочие прелести, которые маму одновременно и восхищали, и пугали. Восхищали перспективой удачного замужества – на него Людмиле рассчитывать не приходилось, а пугали Надькиным норовом, который та выказывала без стеснения.

Стеснения в ней никогда не было.

И замуж она вышла.

Трижды. И на последней встрече выпускников выглядела неплохо, молодо, пожалуй, слишком молодо для своих лет.

Надька явилась в вязаной норковой шубке, в белых сапогах.

Она громко смеялась и спрашивала всех о жизни, будто желая убедиться, что собственная ее удалась. А Людмиле посочувствовала.

И посоветовала стрижку сменить.

Людмила и сама собиралась, но вот... уперлась и все тут. Почему-то казалось, что если последовать Надькиному совету, то она, Людмила, предаст какие-то неоформленные, но явно существующие принципы. А теперь вдруг захотелось эти принципы предать.

Измениться.

Сделаться такой, как Надька. Невысокая. Крепенькая, ладная и в свои почти сорок... на вид ей не больше двадцати пяти. И навряд ли белые Надькины сапоги промокают.

Не те мысли, неправильные.

Ей бы о Мишке думать, который оказался не так прост, как Людмиле представлялось. Мама говорила, что Людмила слишком хорошо думает о людях, забывая, что сама же сделала Людмилу такой. Нет, это не было упреком.

Сожалением?

Будь Людмила чуть более меркантильна, наверное, не оставила бы за собой осколки маминых несбывшихся надежд.

Она потопталась у подъезда – кто-то бросил старый половичок, который уже успел намокнуть.

Дверь без домофона.

Третий этаж.

Квартира седьмая, с железной дверью, которая выделялась среди прочих новизною и блеском. У двери тоже половичок, но чистенький. На такой и ступать-то боязно.

Открыли не сразу. Людмила звонила и звонила, потому как признание, что Ольги нет дома, означало бы необходимость спуститься, выйти под дождь.

Вернуться домой.

Пешком.

Автобусы ходят из рук вон плохо. А Стас уехал. Предлагал ведь подождать, но Людмила отказалась. Дура. Небось Надька такого не упустила бы. А что? Не старый еще. Состоятельный. Мишка называл брата богатеньким Буратино, но на Буратино тот не похож. Скорее уж на медведя-шатуна. Огромен. Мрачен. Неразговорчив. Однако притом рядом с ним Людмила не чувствует той обычной скованности, которая так характерна для нее.

И это пугает.

– Чего надо? – Дверь распахнулась неожиданно. – О... привет.

Ольга была дома.

Спала, судя по виду.

Всклоченная, растрепанная, она напоминала Людмиле безумную гадалку. Волосы-память черного цвета. Бледное, мятое лицо. Темные глаза... на самом деле – линзы. Собственные голубые глаза Ольгу не устраивали.

– Доброго дня, – поздоровалась Людмила. – Впустишь? Разговор есть.

– Про Мишку, что ль? – Ольга зевнула.

Пахло от нее коньяком и сигаретами, и еще, кажется, мужским одеколоном.

– Заходи, – она посторонилась. – Чувствуй себя как дома... слушай, может, кофеечку сварганишь, пока я рожу умою?

Перед Людмилой она не собиралась играть, считала ее своей. И пожалуй, в этом было некоторое преимущество.

Людмила разулась в коридоре, тесном, ко всему и захламленном. Нашла тапочки размера сорок третьего, но хотя бы сухие. А в ботинки напихала бумаги, благо валялись в углу газеты бесплатной рекламы. Конечно, ботинки не высохнут, но хотя бы хлюпать не будет.

Носки отправила на батарею, которая, правда, едва-едва грела.

Кухня заросла.

Нет, Ольга никогда не была хорошей хозяйкой, и время от времени по этому поводу случались скандалы. Впрочем, следовало заметить, что скандалы случались порой и вовсе без повода.

– Людок... а бутеров сделаешь? – донеслось из ванной.

Шумела вода.

И значит, Ольга надолго... пускай, все равно уж лучше тут, чем под дождь выбираться.

Людмила собрала грязные чашки, отправила в мойку. И тарелки туда же. В мусорное ведро – пустые консервные банки и макароны из старой кастрюли, на них появился уже характерный синеватый налет.

Чайник сполоснуть. Посуду помыть... Ольга в ванной пела. И похоже, не знает она про Мишку. Пусть и разругались они, но Ольга не настолько равнодушна, чтобы вот так... или настолько?

Могла ли Ольга убить?

Зачем ей?

Из ревности. От обиды. Зависти творческой... мало ли причин, мало ли подводных камней в чужой-то жизни?

В холодильнике, к вящему удивлению Людмилы, обнаружили и икра, и нарезка, и весьма недешевый сыр с плесенью, определенно купленный в том же супермаркете, где и Мишкин. Хотя... если подумать, не так много в городе магазинов, в которых продают сыр с плесенью.

– И снова здравствуйте... – на кухню Ольга явилась, когда чайник засвистел. – То есть привет, Людок. Рада тебя видеть. Чему обязана?.. Если тебя Мишка послал...

Черный халат, из новых, хотя Ольга и тяготела к черным шелковым халатам, но этот выделялся среди прочих тем, что явно был куплен не на рынке.

Черный шелк.

Черное кружево. Черные чулочки с красной подвязкой, которая не то съехала под колено, не то была изначально надета так, с вызовом. Черные волосы на пробор.

Черные тени.

И за этой чернотой теряется лицо Ольги, типично славянское лицо, округлое, с носом курносеньким и светлыми бровями, которые Ольга по давней привычке подрисовала карандашом.

– Мишка умер, – сказала Людмила и чашку подвинула.

Черную.

Ольга полагала черный цвет необыкновенно стильным. И чашки свои, квадратные, высокие и отвратительно неустойчивые, забрала с собой. Всем врал, что итальянский эксклюзив, хотя купила их на старом рынке...

– Охренеть, – сказала Ольга, плюхаясь на стул. – Чего, правда?

– Правда. Вчера похоронили. Я тебе звонила.

– Вчера?

– Два дня тому...

– А... мы с Ленечкой отдыхали... в пансионате... – Она откинулась на спинку стула и ноги вытянула. На лице ее набеленном застыло выражение удивления, словно Ольга так и не поверила или не поняла, что Мишки действительно нет.

Людмила сама не поверила, когда сказали...

– Ленечка сказал, что мои нервы надо лечить. – Ольга вытащила из кармана халата мундштук и сунула в рот. – Бросать пытаюсь... а тут еще и нервы.

Нервы Ольгины были крепче стальных канатов. Но Людмила не произнесла этого вслух.

– Значит, ты не знала?

– Неа... а... от чего он... ну... – Ольга страшилась выговорить это слово.

Вот удивительно.

Она полагала смерть недооцененной частью современной культуры и писала монохромные картины, с могилами и крестами, с уродливыми покойниками и кособокими гробами. От картин этих веяло тоской, оттого и не продавались они. Но Ольга верила в собственную избранность.

А говорить о смерти вслух опасалась...

– Убили.

– Кто? – вот теперь она и вправду удивлена.

– Не знаю. Но найду, – Людочка вдруг смутилась. – Не я найду. Мишкин брат ищет...

– Тот самый?

– Да.

– Что, реально приехал? – Ольга поерзала на стуле. – Какой он?

Хороший вопрос.

Какой?

Не такой, как Людмила себе представляла. И точно не такой, каким был прежде. Высокий. Массивный. Мрачный, но в то же время...

– Он реально при бабках? – Интерес в Ольгиных глазах оформился.

– Да.

– Круто... познакомь, – это прозвучало не просьбой – приказом.

– Зачем тебе? У тебя же...

– Ленечка? – Ольга отмахнулась. – Он, конечно, милый... и деньги есть, но сама понимаешь, деньги деньгам рознь. А девушка должна думать, как устроить свою личную жизнь с наибольшей выгодой, пока молода... не то останется одна-одинешенька и без денег.

Кажется, это обстоятельство расстраивало Ольгу куда сильнее одиночества.

– Вот как ты, – добавила она и мундштук уронила.

Наверное, следовало бы обидеться на этот укол, но Людмила пожала плечами. К чему обиды, когда правду сказали? Одна-одинешенька... и без денег. Как уж есть.

Стас... сегодня есть, завтра вернется в свои дали, выкинет Людочку из головы. А она забудет о нем и нынешнем приключении, которое именно приключение, как бы цинично это ни звучало. Мишку жаль, но... Людмила не привыкла врать себе.

Ей нравилось то, что она делала, пусть, если разобраться, не делала ничего для себя нового.

– Скажи, Мишке не угрожали...

Кажется, об этом всегда спрашивали в кино. И если бы угрожали, Мишка бы сказал Людмиле. Или нет? Он ведь промолчал о заказе, о деньгах... и о той женщине, для которой купил шампанское.

– Мишке? – фыркнула Ольга. – Кому надо ему угрожать?

– Не знаю.

– Он же... нет, конечно, о покойниках не принято, чтобы плохо... но Мишаня... он был пупсиком.

– Кем?

– Людок, не тормози. Пупсиком. – Ольга взмахнула рукой. – Ну, чего непонятного? Он пытался всем нравиться! То есть ему надо было, чтобы все вокруг его любили. Вот и улыбался постоянно, как debil, право слово... вот смотри, в магазине нас как-то обсчитали. И так внаглую обсчитали! Я и высказала этой девке, которая на кассе сидит, чтоб смотрела, кто перед ней. А Мишаня влез, мол, Оленька, не нужно нервничать, все случайно... то да се... и лыбится, лыбится... а девка знай поддакивает... случайно... ага, знаю я, как она потом случайно наши деньги в карман сунет. Но Мишке ж не докажешь! Он со всеми такой был... лучший друг. Не видел, что ему на шею готовы были сесть и погонять, чтоб, значит, копытами шевелил быстрее... лучший друг.

Ольга вскочила, но вновь села, забросила ногу за ногу.

– Вот ты не понимаешь. Ты думаешь, что такого... у этой Ольги небось характер стержневой.

Людмила пожала плечами: до чужих характеров ей не было дело. Со своим бы справиться, который мама именвала тяжелым, сетуя, что Людмиле и так судьбу свою устроить сложно, с ее-то внешностью, а тут еще и характер.

– А и стержневой, – Ольга вздернула подбородок. – И чего? Я этого не стесняюсь. Пускай. В женщине должен быть огонек. Кому интересна снулая рыба?

Вопрос был риторическим, и Людмила, вздохнув, уточнила:

– Значит, угроз Мишка не получал... почему вы разошлись?

– Ну... – Ольга все-таки встала, подошла к вытяжке и, поднявшись на цыпочки, достала начатую пачку сигарет. – Вот паскудство. Чуть перенервничаю – и сразу затянуться хочется... характерами мы не сошлись. Такой ответ устроит?

– Нет.

– Настырная ты, Людка...

Это прозвучало не упреком, скорее уж констатацией факта.

– Все лезешь и лезешь... думаешь, я его грохнула?

– Почему нет?

– Не знаю... а зачем мне?

Сигарету Ольга вставила в мундштук, уселась у окошка, на котором выстроилась череда пустых бутылок из-под молока. В бутылках стояла вода, причем стояла давно и успела местами помутнеть, а то и вовсе обрести характерный плеснево-зеленый цвет.

– Не знаю, – в тон ответила Людмила, – может, из обиды, что он тебя бросил?

Ольга фыркнула и, затаившись, сказала:

– Это я его бросила, если хочешь знать... не веришь, да? Да я всегда знала, что ничего путного у нас не выйдет... слишком он мягкотелый, чтобы чего-то добиться. Мне же мужик нужен, а не плюшевый медвежонок.

– Тогда зачем ты...

– А что было делать? Жизнь такая... пришлось искать варианты.

Ольга всегда знала, что сама должна распорядиться собственной жизнью и сделать все, чтобы не повторить судьбу матери. Нельзя сказать, чтобы судьба эта была так уж трагична. Ольга помнила свадебную фотографию родителей: молодая выпускница-педагог и молодой же, перспективный офицер. Чем не начало чудесной истории?

Правда, с годами чудо поистрепалось.

Сказались постоянные переезды. И военные городки, похожие друг на друга, одинаково неустроенные, полные скрытых интриг и раздражения, которое накапливалось годами, находя выход в мелких бытовых склоках.

Сплетни.

Кто с кем романы крутит... кто пьет, кто бьет, а кому грозит повышение. Но только грозит... за годы мама обзавелась тремя детьми и двумя подбородками. Пышные кудри она красила в цвет «темный шоколад», чтобы скрыть седину. Говорила она громким визгливым голосом, то и дело срываясь на крик. Отец, дослужившись до капитана, вдруг ясно осознал, что выше подняться ему не позволят. И осознание это крепко его подорвало. Он стал задерживаться на работе, попивать и даже закрутил роман с местной библиотечаршей, о чем матушке донесли немедля.

Разразился скандал.

Ольга помнила прекрасно и крики, и бьющуюся посуду, и мамины слезы...

– Я на вас жизнь положила! – сказала матушка.

И слова эти после повторяла не раз и не два. Что изменилось после того скандала? А ничего... состоялось примирение с чахлым букетом полевых цветов, уверениями, что подобное не повторится – бес попутал, не иначе... матушкино обиженное бурчание...

...Перевод.

...Новый городок, еще более чахлый, нежели прочие... и снова интриги, запои, скоротечный роман... скандал.

Выяснение отношений.

Первой не выдержала Оксанка.

– Ты как знаешь, а я тут свихнусь... – она сложила вещи и уехала поступать. Это матушке она так сказала, но Ольга поняла – сестрица врет.

Оксане повезло.

Она и вправду поступила, пусть и в тот же педагогический, в котором некогда училась матушка. И та, давным-давно позабывшая о своем дипломе, этукую преемственность встретила слезами счастья.

– Бери пример с сестры, – стала повторять она, подкрепляя слова подзатыльником, потому как в отличие от Ксанки Ольга никогда не проявляла должного усердия в учебе, – а то так и останешься неучихой.

На третьем курсе Оксана выскочила замуж, да за человека состоятельного, пусть и много старше ее, а еще год спустя укатила с супругом в Америку. Оттуда она присылала письма и посылки, набитые шмотьем. Вещи матушка, приведя в должный вид, несла на рынок, с того и жили...

Изредка Ксанка звонила, но в гости не звала.

Петька подался в бизнесмены, однако с бизнесом у него ладилось плохо, на что он не уставал жаловаться. Он вообще жаловался много, стенаниями своими вытягивая из матушки наторгованные деньги. В долг, естественно. Отец все так же пил... матушка старела. А Ольга сходилась с ума. Поздний, младший ребенок, она не могла дожидаться, когда же станет совершеннолетней, чтобы покинуть дом, где на нее и стены давили.

Поступать, правда, решила в художественное училище. А что, конкурс туда меньше, а мужиков всяко больше, чем на педагогическом. Ольга, может, и не имела золотой медали, но обладала той житейской хваткой, которая порой была куда важнее разума.

На первом курсе Ольга осознала, что среди своих ей ловить нечего. Нет, парни в училище имелись, но были они не той породы, которая позволила бы Ольге устроиться в жизни. Не имелось среди одноклассников ни богатых наследников – те предпочли иные учебные заведения, ни даже состоятельных. Нехватку денег парни восполняли избытком амбиций, каждый мнил себя гением, естественно, пока непризнанным, но в будущем... о будущем они могли говорить долго, ярко, не забывая притом страсти и сигаретку, и выпивку. К превеликому Ольгиному удивлению, находились восторженные дурочки, которые оных гениев со всеми их амбициями готовы были на руках носить. И носили порой, обеспечивая быт, уют и необходимый для творческого процесса секс.

Порой на таких дурочках, особенно ежели имелась у них квартира и хоть какой-то источник дохода, гении женились. И некоторые, порастратив пыл и звездную пыль, вращались в быт, находили место в обыкновенной жизни.

Этим даже завидовали.

Впрочем, речь не о них, а об Ольге.

Ей удалось устроиться в местную гимназию учителем рисования, поскольку на стипендию прожить точно было невозможно, а денег матушка присылать отказывалась.

У нее случались скоротечные романы, однако жениться, тем паче брать Ольгу на полное содержание, как ей того хотелось, любовники не спешили. Это огорчало. И чем дальше, тем больше огорчало, поскольку близился выпускной курс, а с ним и необходимость как-то устраиваться в жизни. Из общежития, старого, полуразвалившегося, попросят, а квартиру, пусть и самую дешевую, Ольга за учительскую зарплату точно не потянет. Пожалуй, именно тогда она обратила внимание на Мишаню с его тихой безответной любовью. Роман закрылся, и к выпуску Ольга гордо именовала себя гражданской женой.

Мишка предлагал расписаться, но...

– Понимаешь, скучный он был, – Ольга курила смачно, всецело отдаваясь процессу. – А у меня характер такой, что буря нужна... эмоции... без эмоций я чахла. Мишаня же... с ним и поскандальить невозможно было! Ты ему слово, а он тебе – хорошо, милая, будет как скажешь.

Ольга вдруг всхлипнула.

– Жалко его... Мишаня никому ничего дурного не делал... это все картина...

– «Демон»?

– Он самый... я ему говорила, что не надо за такое братья... думаешь, я суеверная?

– Не знаю.

– Суеверная. Я ко всем бабкам ходила, чтобы сняли венец безбрачия... и чтобы на деньги заговор сделали... ни у кого не получалось! А тут одна, про которую сказали, что

она вроде как настоящая, так она два дня меня отшептывала, и вот... – Ольга обвела рукой кухню. – Видишь? Ленечка появился...

– Расскажи про картину...

– Да там говорить нечего, – Ольга бросила окурок в умывальник. – Мы уже почти разошлись тогда...

...Признаться, Ольга сама себе удивлялась, что столько выдержала. Поначалу она сама опасалась разрыва, прекрасно понимая, что идти ей некуда, и потому разыгрывала хорошую хозяйку, у которой одно желание – посвятить себя быту.

Уборка.

Готовка. И милые застольные беседы... но вскоре и то, и другое, не говоря уже о третьем, встало поперек горла. Ольга никогда не умела быть милой.

Первый скандал закончился ее уходом к подруге.

Слезами.

Мишкиными просьбами о прощении... страстным примирением, которого хватило недели на две. Ольга порхала. Ее переполняли эмоции, которые она пыталась воплотить в зрительные образы, не особо, впрочем, надеясь, что сие позволит ей создать шедевр.

В шедевры Ольга не верила.

Затем случился второй скандал, третий... и постепенно вся жизнь стала чередой истерик, которые Мишка сносил с рабской почти покорностью, тем самым лишая Ольгу сил.

– Послушай, – сказал он как-то невзначай, когда она, утомившись кричать, упала на стул. – Может, тебе к врачу обратиться?

– Считаешь меня ненормальной?

– Считаю легковозбудимой, – поправил Мишка и улыбнулся этой своей виноватой улыбкой, которую Ольга терпеть не могла. – Тебе нужна помощь.

Ольге не помощь была нужна, а эмоции.

Или деньги.

Станным образом, деньги позволяли ей успокоиться. И даже не деньги, а удивительное чувство собственной значимости, которое они давали.

Деньги у Мишки водились. Их никогда не было много, но и нельзя сказать, чтобы Мишка в чем-то себе отказывал. Нет, хватало и на еду, и на одежду, правда, покупать ее приходилось на рынке, а не в бутиках, и это вновь казалось Ольге несправедливым. Наверное, она бы все-таки смирилась и, быть может, даже вышла бы замуж, завела ребенка или двоих, навсегда выкинув из головы честолюбивую мечту о богатстве, но... Мишка имел неосторожность рассказать о брате.

Нет, Ольга в общих чертах знала, что Мишка сирота, что матушка его представилась давно, а отец – пару лет как, и обстоятельство это Ольгу нисколько не печалило, напротив, она была рада, что жизнь избавила ее от необходимости сосуществовать с Мишкиными родственниками. Знала она и о старшем брате, который некогда ушел из дому. Вот только не знала, что брат этот – богат.

В тот день Мишка напился.

С ним это случалось крайне редко, потому как спиртное Мишка полагал той же опасной дурной привычкой, что и сигареты. А тут... Ольга вернулась – она по-прежнему работала в гимназии и даже давала частные уроки – и увидела супруга, сидящим в коридоре.

– Привет, – сказал он и ручкой помахал. – Где гуляла?

– Работала, – огрызнулась Ольга.

Настроение было поганым.

Она и вправду рассчитывала погулять, и не в одиночестве – отец ученицы давно уже оказывал Ольге явные знаки внимания, и она всерьез рассматривала его кандидатуру на роль

будущего супруга, но... он заявился с молоденькой, куда моложе Ольги, девицей, которую представил своею невестой. И девица эта, которая разом догадалась об Ольгиных мыслях и рухнувших надеждах, смеялась тонким визгливым голоском, а на Ольгу смотрела сверху вниз.

Девица всем видом своим показывала, что Ольге рассчитывать не на что.

Стара она для брачного рынка.

А тут еще Мишка пьяный... синица в руках, которая лучше всех журавлей разом, тем более когда журавли эти существуют только в Ольгином воображении.

– Р-работала... – повторила синица, пьяновато срыгнув. – А у меня тут го-о-ости были...

Гости?

Удивил. Гости к Мишке являлись регулярно, выпить, пожрать да поплакаться. Их всех, творческих неудачников, Ольга едва терпела, сама этому терпению удивляясь. От гостей оставались грязные следы на полу, грязные чашки в мойке и пустые консервные банки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.